

Графиня Рудольштадт

Автор:

Жорж Санд

Графиня Рудольштадт

Жорж Санд

Консуэло #2

Дилогия о Консуэло принадлежит к самым известным и популярным произведениям французской писательницы Жорж Санд. Темпераментная и романтическая женщина, Жорж Санд щедро поделилась со своей героиней воспоминаниями и плодами вдохновенных раздумий... Новая встреча со смуглянкой Консуэло – это прекрасная возможность погрузиться в полную опасностей и подлинной страсти атмосферу галантной эпохи, когда люди умели жить в полную силу и умирать с улыбкой на устах.

Жорж Санд

Графиня Рудольштадт[1 - Роман «Графиня Рудольштадт» является непосредственным продолжением «Консуэло». Писательница рассматривала эти два произведения как единое целое. Роман вначале печатался в журнале «Ревю эндепандант» с 25 июня 1843 по 10 февраля 1844 года. Рукопись романа не сохранилась. В 1844 году роман вышел отдельной книгой в серии «Собрание лучших современных романов», затем был переиздан в 1854 году. В собрании сочинений Жорж Санд (1875) «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» были напечатаны с посвящением певице Полине Виардо.]

Цыганская душа

Зыбкая грань между автором и его героями, особенно популярными и знаменитыми, всегда служила стимулом для сплетен и законного читательского любопытства. Иногда литературная маска становилась как бы вторым «я», продолжением личности автора в ином измерении, где можно быть удачливым, обаятельным, незакомплексованным и, главное, прожить такую жизнь, какую только в состоянии сочинить для себя человеческое воображение.

Такое положение дел характерно не только для тех, у кого литературное дарование стало иллюзорной компенсацией за невозможность реализовать себя в реальном мире. Например, французская писательница Аврора Дюпен, известная всему миру под псевдонимом Жорж Санд, щедро дарила своим многочисленным героиням частицы себя самой – запавшие в душу образы и плоды вдохновенных раздумий, живые картины воспоминаний и мечты о необыкновенной любви, об идеальном возлюбленном, которого она, кажется, так и не встретила; но ведь это случай как раз из тех, когда движение – жизнь, а результат – смерть. Красивая и одаренная цыганка Консуэло, которая столь отважно отстаивала право на любовь и талант, не стала исключением...

Жорж Санд походила на некоторых своих героинь даже внешне. Как креолка Индиана из одноименного романа и всем известная Консуэло, она обладала смуглым цветом лица. Ей также с детства был присущ естественный артистизм и способность тонко чувствовать окружающую природу, которая входила в ее романы мощным лирическим аккомпанементом к бурным и страстным переживаниям героев.

Подобно мятежным созданиям своей фантазии, Жорж Санд не любила высший свет и предпочитала поэзию сельской природы суете Парижа. Ей были свойственны искренний демократизм и презрение ко всякого рода нерушимым табу и условностям, что совсем не мешало Жорж Санд держаться со спокойным достоинством в самом изысканном аристократическом обществе или в кругу высших сановников государства. Она не испытывала благоговения перед титулами, как Бальзак или ее возлюбленный Шопен; возможно, в том числе и потому, что в жилах самой писательницы текла королевская кровь.

Все предки Жорж Санд были людьми необыкновенными. Женщины, как на подбор, носили имя Аврора и непременно были окружены любовниками и сыновьями. Внебрачных детей хватало, но всех их признавали, окружали любовью и воспитывали по-королевски.

Самым далеким из известных предков Жорж Санд был жестокий и необузданный фельдмаршал времен Тридцатилетней войны Жан-Кристоф де Кенигсмарк. В дальнейшем все мужчины из этого рода проявили себя героями, авантюристами и соблазнителями, а женщины – либо святыми, либо чертовски обаятельными грешницами.

Аврора де Кенигсмарк была темноглазой красавицей, обладавшей ласковым и веселым характером в чисто французском вкусе. В конце XVII века она познакомилась с Августом Саксонским, курфюрстом, который позднее стал королем Польши. Добившись своего, Август Саксонский вскоре перестал интересоваться любовницей, но не оставил вниманием их сына Мориса.

По приказу отца Морис еще мальчиком совершил путешествие пешком по Европе, питаясь исключительно супом и хлебом. В тринадцать лет он получил на поле сражения первый офицерский чин и соблазнил девчонку-ровесницу. Позднее о его любовных похождениях говорил весь Париж – еще бы, ведь среди его побед значились принцесса де Конти, Адриенна Лекуврер, мадам Фавар и герцогиня де Буйон!

Его мать тоже не впала в отчаяние, хотя и обосновалась в протестантском аббатстве Кедлибург. Вопреки известной поговорке насчет чужого монастыря и своего устава, Аврора вскоре превратила аббатство в развеселое местечко, где она постоянно принимала великосветских гостей, не исключая коронованных особ. Именно там она устроила знаменитый праздник в честь Петра I, на котором сама она явилась в виде музы, исполнявшей стихи собственного сочинения. Престарелая глуховатая аббатиса в тот вечер приняла ее за святую.

Морис Саксонский был полон честолюбивых планов; чтобы исполнить один из них, его мать и дама сердца – тогда ею была Адриенна Лекуврер – даже продали свои драгоценности. Дело в том, что он вознамерился жениться на вдове последнего курляндского герцога, которая, кстати, позднее стала русской царицей под именем Анны Иоанновны. Морис почти осуществил задуманное, но его подвела самонадеянность – он слишком быстро ввел во дворец свою молодую любовницу. После этого от брачных планов, а заодно и от короны пришлось отказаться.

Тогда Морис вступил в армию французского короля, с которым вскоре породнился – его племянница Мари-Жозефина Саксонская вышла замуж за дофина и впоследствии стала матерью трех королей Франции: печально

известного Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. Сам Морис быстро стал маршалом Франции и, помимо своих побед на поле брани, прославился еще и тем, что содержал в своих войсках труппу комедианток, дававшую ежедневные представления – для поднятия боевого духа французских солдат, которые «больше всего на войне боятся скуки».

Репутация Мориса Саксонского как большого женолюбца и щедрого любовника была притягательной для многих почтенных семейств. В 1745 году парижские буржуа Ренто привлекли его просвещенное внимание к ослепительной красоте двух своих дочерей: семнадцатилетней Мари и пятнадцатилетней Женевьевы. Маршал оценил Мари по достоинству – помимо многолетней привязанности, он подарил ей отель в Париже, где сестры стали уже девицами де Верьер, и дочь Мари-Аврору, унаследовавшую красоту родителей.

Мари-Аврора родилась в 1748 году, а два года спустя Морис Саксонский скончался, успев вычеркнуть мать и дочь из своего завещания. Его самолюбие было уязвлено тем, что благосклонность Мари де Верьер ему пришлось разделить с богачом-откупщиком д'Эпине и писателем Мармонтелем.

Господин д'Эпине надолго сохранил расположение к Мари де Верьер, однако его жена, воспетая Дидро, Руссо и Гриммом, тоже не теряла времени даром. Приятель д'Эпине, другой финансист, Дюпен де Франкей обладал многочисленными талантами. Не было ничего удивительного в том, что он давал госпоже д'Эпине уроки музыкальной композиции. Вскоре д'Эпине узнал, во что на самом деле превратились эти занятия, и в наказание пригласил своего соперника в салон де Верьер. Так Дюпен стал любовником младшей из сестер, Женевьевы.

Там же Дюпен встретил и дочь Мари де Верьер, Аврору. К тому времени она успела выйти замуж и вскоре овдоветь. Аврора обладала актерскими способностями, проявлявшимися в любительских постановках, и превосходным музыкальными данными. Она пела в операх, играла на различных музыкальных инструментах, отдавая предпочтение музыке Порпоры, Гассе и Перголезе. Кроме того, она получила великолепное аристократическое воспитание и буквально очаровывала окружающих своим обхождением.

После смерти Мари де Верьер господин д'Эпине оплакал свою любовницу, с которой он прожил 25 лет, и утешился в объятиях ее младшей сестры Женевьевы. Аврора удалилась было в монастырь, но в 1778 году стала супругой

Дюпена де Франкей. Ей было 30 лет, ему – 62 года, и они были счастливы. Позднее Аврора Дюпен де Франкей так описывала этот брак своей юной внучке Авроре, будущей Жорж Санд: «...Разве в наше время кто-нибудь был стар? Это революция привела в мир старость. Ваш дедушка, дочь моя, был красив, элегантен, выхолен, изящен, надушен, весел, приятен, привлекателен и неизменно в ровном расположении духа до своего смертного часа... Я убеждена, что мне достался лучший период его жизни и что никакой молодой человек не сумел бы дать молодой женщине столько счастья, сколько он давал мне. Мы не расставались никогда, и ни разу я не испытала около него чувства скуки».

Дюпен был действительно талантливым человеком: он прекрасно играл на скрипке, и при этом сам изготавливал для себя столь сложный инструмент; кроме того, он был часовщиком, архитектором, токарем, художником, слесарем, декоратором, поваром, поэтом, композитором, столяром и... прекрасно вышивал гладью. Не стоит удивляться, что с ним никогда не было скучно – он умел занимать себя так, чтобы это становилось интересным и для окружающих.

Свой отпечаток на этот счастливый десятилетний союз наложила и эпоха: «Да, в наше время умели жить и умели умирать!.. Ни у кого не было несносных болезней. Если мучила подагра, то все равно были на ногах, не делая страдальческого лица; болезни было принято скрывать, этого требовало хорошее воспитание. Не было деловых забот, которые портят семейную жизнь и притупляют ум. Умели разоряться незаметно для окружающих, как хорошие игроки, которые проигрывают, скрывая волнение и досаду. Хоть полумертвые, а все же не пропускали охоты. Считали, что лучше умереть на балу или в театре, чем в своей постели, между четырьмя канделябрами, в окружении отвратительных людей в черном... Радовались жизни и, когда приходило время расстаться с ней, не старались отбить у других вкус к ней. Прощальными словами моего старого мужа были пожелания, чтобы я жила как можно дольше и сделала свою жизнь счастливой. Выказать столько сердечного благородства – это лучший способ заставить жалеть о себе!..»

Столь завидное существование обошлось супругам Дюпен в 7–8 миллионов ливров того времени. Когда обнаружилось, что вдове Дюпен осталась «всего лишь» годовая рента в 75 тысяч ливров, она воскликнула, что разорена. Ей не было дано знать, что пройдет лишь год, и наступит бедствие, перед которым померкнут все прошлые проблемы – Франция находилась на пороге революции.

Тем временем подрастал ее сын Морис Дюпен – в 1789 году ему исполнилось одиннадцать лет. Это был миловидный ребенок, храбрый, благородный и неуправляемый в шалостях. Морис унаследовал бархатные темные глаза Кенигсмарков, их врожденный вкус и влечение к музыке и поэзии. Когда в ноябре 1793 года его мать арестовали по доносу из-за незаконного тайника с драгоценностями и бумагами, Морис со своим воспитателем и другом семьи Дешартром пробрался ночью в комнату с тайником. Рискуя многим, они взломали печати Комитета общественной безопасности и уничтожили компрометирующие Аврору документы, свидетельствовавшие о ее связях с роялистским подпольем.

Возмужав, Морис поступил на военную службу. Это было время, когда французы считали, что освобождают Европу от тирании и пользуются за это всеобщей любовью. Морис рвался в бой даже в письмах к матери: «Если отличиться в каком-нибудь сражении, могут дать чин на поле битвы. Какое счастье! Какая слава!»

В 1800 году он встретил в комнате своего начальника (дело было в Милане) красивую смеющуюся смуглянку – Антуанетту-Софи-Викторию Делаборд. О ее отце известно, что он вначале держал кофейню с биллиардом, а затем стал продавать чижей и щеглят на набережных Парижа. К моменту этой встречи дочери птицелова было уже за тридцать, и она успела повидать виды, подобно многим девушкам из бедных семей в ту смутную эпоху.

Софи-Виктория бросила генерала ради лейтенанта; с ней Морис познал очарование романтической любви. Его послания дышали счастьем: «Как отратно быть любимым, иметь добрую мать, верных друзей, красивую любовницу, немного славы, породистых лошадей и врагов на поле битвы!»

Госпожу Дюпен эта ситуация несколько встревожила: она не хотела неравного брака для своего красавца-сына. Однако ее протесты ни к чему не привели, и в июне 1804 года Морис и Софи-Виктория сочетались браком в мэрии, а еще через месяц на свет появилась маленькая девочка, которую назвали Авророй – в честь бабушки. Кто-то из гостей на вечеринке, где это случилось, предрек малышке счастливое будущее: при ее рождении звучала музыка, а Софи-Виктория была в розовом платье – она как раз собиралась танцевать контрданс.

Бабушка по-прежнему была в оппозиции, но ее сопротивление было сломлено самым неожиданным образом: ей обманом положили на колени внучку. Узнав

темные бархатные глаза Кенигсмарков, она сменила гнев на милость, чем не преминул воспользоваться карауливший момент Морис. Правда, примирение носило в основном официальный характер, но Софи-Викторию это не смутило: сознавая свое плебейское происхождение, она считала себя благороднее всех аристократов мира. Не случайно Жорж Санд унаследовала от родителей неприязнь к высшему свету, доставившему им столько хлопот, и тягу к уединению, которое способен дать только собственный дом.

И все же до четырех лет маленькая Аврора знала только родню со стороны матери. Отец ее был вечно в походах, и девочка жила в Париже на чердаке с Софи-Викторией. У матери был резкий язык и тяжелая рука, но она была весела, очаровательна и обладала врожденной поэтичностью натуры. Софи-Виктория могла написать прекрасное письмо, не зная орфографии, спеть арию, не имея представления о сольфеджио, нарисовать что-нибудь, совершенно не разбираясь даже в азах живописи. Ее руки создавали великолепные шляпки и платья, но могли починить и расстроенный клавесин. Она часто говорила на развязном жаргоне парижской улицы, и Аврору отнюдь не шокировали эти «едкие и живописные выражения».

Мать готовила, вязала и шила, а Аврора сидела между четырьмя стульями на незажженной жаровне и листала книжки с картинками: это были иллюстрации к Святому Писанию и древним мифам. Мать рассказывала ей сказки, учила с ней наизусть басни и молитвы. Аврора могла часами слушать ее рассказы под аккомпанемент игры на флажолете флейтиста из соседней мансарды. Этот «рай в шалаше», полный поэзии и материнской ласки, надолго остался для Авроры одним из самых дорогих воспоминаний детства.

В 1808 году Морис Дюпен, успев стать полковником и адъютантом Мюрата, все-таки привез семью к матери в родовое поместье Ноан. Судьбе было угодно, чтобы спустя несколько дней после приезда Морис разбился, налетев ночью на лошади на груду камней. Спустя некоторое время Софи-Виктория была вынуждена оставить Аврору на воспитание госпоже Дюпен и уехать в Париж – на стороне бабушки были такие аргументы, как возможность дать девочке приличное воспитание и обеспечить ее будущее.

Жизнь в Ноане пошла Авроре на пользу. Дешартр обучил ее латыни и естественным наукам, а бабушка сумела передать ей свои познания в музыке и в литературе. Единственное, в чем они так и не смогли найти общего языка, была вера. Аврора всей душой восприняла поэтическое, бессознательное религиозное

чувство своей матери, в то время как госпожа Дюпен была женщиной XVIII века, то есть убежденной вольтерианкой, верившей скорее в науки и философию. Конфликт зашел так далеко, что бабушка решила поместить Аврору в Августинский женский монастырь в Париже – для продолжения образования.

В монастыре Аврора встретила с девочками из самых знатных семейств Франции. Вначале она стала заводилой во всех шалостях и рискованных экспедициях на крыши и в монастырские подземелья. Затем присущие ей тяга к возвышенному, жажда идеала во всем, в том числе и в вере, взяли верх, и Аврора чуть было не стала монахиней.

Как бы то ни было, весной 1820 года она возвратилась в Ноан. Освоившись с положением богатой наследницы, она не стала торопиться с рассмотрением брачных предложений. Свободная и счастливая, она ездила на охоту с Дешартром, который к тому времени стал уже мэром Ноана. Именно он посоветовал ей надевать мужской костюм для удобства во время езды верхом. С точки зрения самой Авроры это придавало ей особый авторитет в глазах сверстниц.

Бабушка пережила два удара и все реже вставала с постели. Дешартр передал в руки Авроры все расчеты по имению и постарался передать ей свои медицинские познания. Некоторое время спустя она могла уже заменить в деревне аптекаря и доктора. С тех пор она привыкла относиться к человеческому телу так, как это делают врачи: спокойно, профессионально, без всякой брезгливости. Многие из ее любовников впоследствии принимали это за отсутствие чувства стыдливости.

В первый день Рождества 1821 года бабушка Дюпен умерла. Во время подготовки к похоронам семейного склепа, Дешартру пришла в голову безумная романтическая идея. Студеной ночью он привел Аврору в семейную усыпальницу. Гроб Мориса Дюпена был вскрыт, голова его отделена от скелета. Дешартр дал поцеловать череп отца потрясенной Авроре, у которой от неожиданности и потрясения пропала всякая способность к сопротивлению...

Вскоре Аврора вышла замуж, но этот брак не был удачен – она быстро выяснила, что ей нужна какая-то иная, возвышенная, идеальная любовь, наполненная духовным общением, игрой ума, и – взаимным равенством и уважением. В поисках этого единственного возлюбленного она провела немало лет, сменив множество любовников, в основном людей талантливых, ранимых и слабых,

нуждавшихся в ее заботах и сострадании.

Среди рыцарей ее сердца были и такие фигуры, как Альфред де Мюссе и Фредерик Шопен. Вообще кругу общения Жорж Санд можно только позавидовать, в него входила вся интеллектуальная и артистическая элита Европы – Ференц Лист, Гюстав Флобер, Полина Виардо, Иван Сергеевич Тургенев, Виктор Гюго, Сент-Бев, Эжен Делакура, Мериме, Дюма-сын, и это не говоря уже о политиках, революционерах и государственных деятелях!

Уже в преклонные годы Жорж Санд призналась себе, что у нее было лишь две страсти в жизни – материнство и дружба. Другое дело, что жизнь сложна, и мало кто из мужчин согласился бы делить с ней горе и радости на таких началах. Она даже утверждала, что если бы могла начать жизнь сначала, то осталась бы целомудренной! На первый взгляд, в устах женщины с таким любовным опытом это звучит неискренне, но не стоит забывать: в глазах Жорж Санд грехом было жить с нелюбимым мужем, а не уйти от него к тому, кого любишь. Или любить всем существом, или – монастырь, который, впрочем, был бы для нее тихой обителью, а не местом подвижнического подвига.

...Еще со времен обучения в Августинской обители Аврора подружилась с аббатом де Премор. Именно он отговорил ее от монашеской жизни, понимая, что это не принесет счастья восторженной и поэтической девочке. Они и в дальнейшем продолжали обмениваться письмами – Аврора нуждалась в советах мудрого аббата. В одном из его писем будущая писательница подчеркнула фразу, которая надолго стала для нее путеводной в непоседливой и полной приключений жизни:

«Никогда не сомневайтесь, если вам подсказывает сердце. Сердце не может обмануть...»

Вадим Татаринов

Зал Итальянской оперы в Берлине,[2 - Итальянская опера в Берлине – ансамбль итальянских певцов, выступавших с 1742 года в новом королевском оперном театре под руководством придворного капельмейстера Карла-Генриха Грана.] построенный в первые годы царствования Фридриха Великого,[3 - Фридрих Великий – Фридрих II (1712–1786), прусский король с 1740 г.] был в то время одним из самых красивых в Европе. Вход был бесплатный, ибо за все спектакли платил сам король. Для доступа в театр требовался, однако, билет, так как все ложи предназначались определенным лицам: одни – принцам и принцессам королевской фамилии, другие – членам дипломатического корпуса, знаменитым путешественникам, ученым из Академии, генералам. И так, повсюду – члены семьи короля, лица, состоящие на жалованье у короля, фавориты короля. Впрочем, роптать не приходилось – ведь то был театр короля и артисты короля. Для добрых обитателей доброго города Берлина оставался лишь маленький кусочек партера, ибо большая часть его была занята военными – каждый полк имел право присылать по несколько человек из каждой роты. И вот вместо веселой, легко воспламеняющейся и восприимчивой публики Парижа артисты видели перед собой «героев шести футов ростом», как называл их Вольтер, в высоченных шапках, причем большинство из них сажало себе на плечи своих жен. Все это вместе составляло неотесанную, пропахшую табаком и водкой толпу, которая ни слова не понимала, таращила глаза и, не осмеливаясь ни аплодировать, ни свистеть из страха перед инструкцией, все-таки производила много шума, так как ни минуты не оставалась в покое.

Позади этих господ находились два ряда лож, откуда зрители ничего не видели и не слышали, но где они неизменно присутствовали, ибо приличия ради вынуждены были регулярно посещать спектакли, которые столь щедро преподносил им его величество король. Сам же король не пропускал ни одного спектакля. То был отличный способ всегда держать на виду многочисленных членов своей семьи и беспокойный муравейник придворных. Фридрих следовал примеру отца, Вильгельма Толстого,[4 - Вильгельм Толстый – Фридрих Вильгельм I (1688–1740), вступивший на прусский престол в 1713 г.] который делал то же, но в плохо сколоченном зале, где, слушая плохих немецких комедиантов, королевское семейство и его двор умирали со скуки в зимние вечера и терпеливо мокли под дождем, пока сам король спал. Фридрих долго страдал от этой домашней тирании, он проклинал ее, он вынужден был ее выносить, но, едва успев стать властелином, восстановил этот обычай, как и многие другие, более деспотические и более жестокие, всю прелесть которых он оценил теперь, когда сделался единственным человеком в королевстве, переставшим от них страдать.

Однако сетовать никто не смел. Здание оперного театра было великолепно, отделка роскошна, артисты пели превосходно, и король, почти всегда стоявший у рампы, подле оркестра, с наведенным на сцену лорнетом, являл собой образец неутомимого меломана.

Всем известно, что Вольтер, вскоре после того, как он водворился в Берлине,[5 - «...вскоре после того, как он водворился в Берлине...» - Вольтер прибыл в Берлин в 1750 г. по приглашению Фридриха II. В 1753 г., порвав с королем, уехал в Швейцарию.] восхвалял великолепие двора «Северного Соломона».[6 - «Северный Соломон» - так называл Вольтер Фридриха II в письме к своей племяннице Луизе Дени 18 декабря 1752 г.] Раздраженный пренебрежением Людовика XV, невниманием своей покровительницы - госпожи Помпадур,[7 - Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон, 1721-1764) - маркиза, фаворитка Людовика XV, имевшая неограниченное влияние на короля и фактически правившая страной.] преследуемый иезуитами, освистанный во Французском театре, он уехал в минуту досады за почестями, за большим жалованьем, за титулом камергера, за орденом Почетного легиона и за дружбой короля-философа, еще более лестной в его глазах, чем все остальное. Словно большой ребенок, великий Вольтер дулся на Францию, воображая, будто неблагодарные соотечественники «лопнут с досады». И, как видно, он слегка охмелел от своей новой славы, когда писал друзьям, что Берлин не хуже Версаля, что опера «Фаэтон»[8 - «Фаэтон» - опера К.-Г. Грауна, впервые поставленная в Берлине в 1750 г.] - превосходнейшее зрелище, а у примадонны прекраснейший голос во всей Европе.

Однако в тот период, когда мы вновь начинаем наш рассказ (чтобы не утомлять память наших читательниц, скажем сразу, что со времени последних приключений Консуэло прошел почти год), зима оказалась в Берлине весьма суровой, великий король слегка приоткрыл свою истинную сущность, и Вольтер успел порядком разочароваться в Пруссии. Он сидел в своей ложе между д'Аржансом[9 - Д'Аржанс Жан-Батист де Бойе, маркиз (1704-1771) - французский литератор и философ, друг Фридриха II. Состоял директором отделения философии берлинской Академии наук.] и Ламетри,[10 - Ламетри Жюльен Офре (1709-1751) - французский философ-материалист, врач. Преследования церковников и иезуитов вынудили его переселиться в Голландию, а оттуда в Германию. Был чтецом Фридриха II.] уже не притворяясь, будто любит музыку, которую никогда не чувствовал так сильно, как истинную поэзию. У него болел живот, и он с грустью вспоминал неблагодарную, но пылкую публику парижских театров, чье неодобрение причиняло ему столько горя, чьи аплодисменты доставляли столько радости, - публику,

соприкосновение с которой так сильно волновало его, что он поклялся никогда больше ее не видеть, хотя не мог помешать себе беспрестанно о ней думать и трудиться для нее не покладая рук.

А между тем сегодняшний спектакль был превосходен. Стояли дни карнавала, и все члены королевской семьи, даже маркграфы, нашедшие себе жен в глубине страны, собрались в Берлине. Давали «Тита»[11 - «Давали “Тита”...» - Имеется в виду опера «Милосердие Тита» (1737).] Метастазиио[12 - Метастазиио Пьетро (наст. фамилия - Трапасси, 1698-1782) - выдающийся итальянский поэт и драматург. Произведения Метастазиио пользовались у современников необычайным успехом, на его тексты писали оперы многие композиторы, в том числе Гендель, Глюк, Гайдн и Моцарт.] и Гассе,[13 - Гассе Иоганн Адольф (1699-1783) - один из крупнейших оперных композиторов XVIII в. Родился в Гамбурге, молодость провел в Италии, в течение многих лет состоял капельмейстером оперного театра в Дрездене.] и обе главные роли исполняли двое лучших артистов итальянской труппы - Порпорино[14 - Порпорино - прозвище певца-кастрата Антонио Уберти (1696-1783), ученика Порпоры. Выступал в Берлине в итальянской опере, был придворным певцом Фридриха II.] и Порпорина.

Если наши читательницы соблаговолят слегка напрячь память, они припомнят, что эти два действующих лица не являлись мужем и женой, как это можно было бы предположить по их псевдонимам. Нет, первый был синьор Уберти, обладатель изумительного контральто, а вторая Zingarella[15 - Цыганочка (итал.).] Консуэло, замечательная певица, причем оба являлись учениками профессора Порпоры,[16 - Порпора Никколо (1686-1766) - итальянский композитор и вокальный педагог. Его жизнь в Венеции и Вене отображена в «Консуэло».] который, по итальянскому обычаю того времени, позволил им носить славное имя их учителя.

Надо сознаться, что синьора Порпорина пела в Пруссии далеко не с тем подъемом, на какой она чувствовала себя способной в прежние, лучшие времена. В то время как чистое контральто ее партнера звонко раздавалось во всех уголках берлинской Оперы, оберегаемое всеми благами обеспеченной жизни, привычкой к неизменным успехам и постоянным жалованьем в пятнадцать тысяч ливров за два месяца работы, бедная цыганочка, быть может более пылкая и, уж конечно, более бескорыстная и менее приспособленная к ледяному холоду севера и прусских капралов, не чувствовала сейчас особого воодушевления и пела в той добросовестной, безупречной манере, которая не

дает повода для порицания, но и не вызывает энтузиазма. Энтузиазм артистки и энтузиазм публики не могут не быть взаимны. Так вот, в дни славного царствования Фридриха Великого энтузиазма в Берлине не было.

Пунктуальность, повиновение и то, что в восемнадцатом столетии, и особенно при дворе Фридриха, называли разумом, – таковы были единственные добродетели, какие могли расцвести в этой атмосфере, температуру которой устанавливал король. Никто из собравшихся в этом зале не имел права вздохнуть или пошевелиться, если на то не было его высочайшего соизволения. Среди всего этого множества зрителей только один из них мог свободно отдаваться своим впечатлениям, и то был король. Публику олицетворял он один, и хоть он был хорошим музыкантом, хоть он любил музыку, все его способности, все склонности были подчинены такой холодной логике, что королевский лорнет, словно прикованный ко всем жестам и ко всем переживаниям голоса певицы, не только не воодушевлял, а, напротив, совершенно парализовал ее.

Впрочем, для нее было даже лучше, что она повиновалась этому тягостному гипнозу. Малейшее проявление горячности, малейший порыв неожиданного вдохновения, по всей вероятности, шокировали бы и короля и придворных, тогда как трудные и сложные рулады, исполняемые с четкостью безупречного механизма, приводили в восторг короля, придворных и Вольтера. Как известно, Вольтер говорил: «Итальянская музыка намного лучше французской, потому что она более сложна, а преодоленная трудность что-нибудь да значит». Так понимал искусство Вольтер. Подобно некоему остро слову – он еще жив, – у которого спросили, любит ли он музыку, Вольтер мог бы ответить: «Она не слишком мне мешает».

Все шло прекрасно, и опера беспрепятственно двигалась к развязке. Король был весьма доволен и время от времени кивал капельмейстеру, выражая ему одобрение; он уже собирался начать аплодировать певице, заканчивавшей свою каватину, как милостиво делал это обычно, всегда воздавая ей должное, но тут, по какой-то необъяснимой прихоти случая, Порпорина, посреди блестящей рулады, которая неизменно ей удавалась, внезапно умолкла, устремив странный взгляд в угол зала, стиснула руки и с криком «О, Боже!» упала без чувств на подмостки. Порпорино поспешил ее поднять, пришлось унести ее за кулисы, а в зале раздался шум – вопросы, предположения, догадки. В разгаре этой суматохи король громко окликнул тенора, который еще оставался на сцене.

– Что все это значит, Кончолини?[17 - Кончолини (правильно – Кончалини) – Джованни Карло (1745–1812) – певец-кастрат. Пел в оперных театрах Мюнхена и

Берлина.] Что с ней такое? – спросил он властным и резким голосом, перекрывавшим шум толпы. – Идите взгляните на нее, да поживее!

Через несколько секунд Кончолини вернулся и, почтительно перегнувшись через рампу, на которую облокотился король, сообщил:

– Ваше величество, синьора Порпорина лежит как мертвая. Боюсь, что она не сможет закончить спектакль.

– Полноте! – сказал король, пожимая плечами. – Пусть ей дадут стакан воды, пусть принесут понюхать чего-нибудь, и поскорее кончайте эту историю.

Певец, не имевший ни малейшей охоты рассердить короля и испытать на себе в присутствии публики вспышку его гнева, снова, как крыса, улепетнул за кулисы, а король раздраженно заговорил о чем-то с капельмейстером и с музыкантами, меж тем как часть публики, которую дурное настроение короля интересовало значительно больше, нежели бедная Порпорина, прилагала невероятные, но бесплодные усилия уловить слова монарха.

Барон фон Пельниц,[18 - Пельниц Карл Людвиг фон (1692–1775) – немецкий авантюрист, объездивший многие страны Европы. При дворе Фридриха II занимал должность обер-камергера.] обер-камергер короля и директор его театра, вскоре вернулся и доложил Фридриху, как обстоит дело. В театре Фридриха не было той атмосферы торжественности, какая могла бы быть, если бы публика чувствовала себя независимой и влиятельной. Король повсюду был у себя дома, спектакль принадлежал ему и шел для него одного. Поэтому никого не удивило, что главным действующим лицом этой неожиданной интермедии сделался он.

– Послушайте, барон, – говорил он довольно громко, не обращая внимания на то, что его слышала часть оркестра, – скоро ли это закончится? Ведь это просто смешно!

Неужели там, за кулисами, у вас нет доктора? Вы обязаны постоянно держать доктора в театре.

– Ваше величество, доктор здесь. Он не решается пустить певице кровь, так как опасается, что от этого она ослабеет и не сможет играть дальше. Но ему все-

таки придется прибегнуть к кровопусканию, если она не придет в чувство.

– Так, стало быть, это серьезно? Она не притворяется?

– Ваше величество, на мой взгляд, это очень серьезно.

– В таком случае, велите опустить занавес, и разойдемся по домам. Впрочем, пусть Порпорино споет нам что-нибудь взамен, чтобы мы не ушли под этим тяжелым впечатлением.

Порпорино повиновался и превосходно спел две вещицы. Король похлопал ему, публика сделала то же, и представление окончилось. Зрители стали расходиться, а король в сопровождении Пельница прошел за кулисы, в уборную примадонны.

Когда актрисе становится дурно во время исполнения роли, далеко не вся публика сочувствует ее беде; сколько бы любитель музыки ни обожал своего кумира, к его жалости всегда примешивается такая доля эгоизма, что он куда более огорчен потерей собственного удовольствия, нежели страданиями и тревогами самой жертвы. Некоторые чувствительные женщины, как говорили в то время, оплакивали сегодняшний несчастный случай следующим образом:

– Бедняжка! Должно быть, она только собралась начать трель, как вдруг у нее запершило в горле, и, побоявшись не вытянуть ее, она предпочла упасть в обморок.

– А мне кажется, она не притворялась, – сказала другая дама, еще более чувствительная. – Люди не падают наземь с такой силой, если не больны по-настоящему.

– Ах, почем знать, моя милая? – подхватила первая. – Хорошая актриса умеет падать, как ей вздумается: она не боится причинить себе немножко боли. Ведь это так нравится публике!

– Что такое стряслось сегодня с этой Порпориной? – спрашивал Ламетри маркиза д'Аржанса в другом конце вестибюля, где толпились, уходя, великосветские зрители. – Уж не поколотил ли ее любовник?

– Не говорите так о прелестной, добродетельной девушке, – возразил маркиз. – У нее нет любовника, а если бы даже и был, то она никогда не заслужит с его стороны подобного оскорбления, разве только он последний негодяй.

– Ах, простите, маркиз! Я и забыл, что говорю с доблестным защитником всех актрис театра – бывших, настоящих и будущих! Кстати, как поживает мадемуазель Кошуа?[19 - Кошуа Мария – танцовщица, выступавшая с 1742 по 1750 г. в Берлинском оперном театре.]

– Дорогая моя, – говорила в это же самое время, сидя в карете, принцесса Амалия Прусская,[20 - Амалия Прусская (1723–1787) – младшая сестра Фридриха II. Увлекалась магией и оккультными науками.] сестра короля, аббатиса Кведлинбургская, постоянной своей наперснице, прекрасной графине фон Клейст, – заметила ли ты, как волновался брат во время сегодняшнего приключения?

– Нет, принцесса, – ответила госпожа Мопертюи, старшая домоправительница принцессы, добрейшая, но весьма недалекая и весьма рассеянная особа, – я ничего не заметила.

– Да не с тобой говорят, – ответила принцесса тем резким и решительным тоном, какой придавал ей иногда такое сходство с братом. – Где тебе что-нибудь заметить! Лучше посмотри-ка на небо и сосчитай, сколько там сейчас звезд. Мне надо кое-что сказать графине фон Клейст, и я не хочу, чтобы ты нас слышала.

Госпожа де Мопертюи добросовестно заткнула уши, а принцесса, наклонясь к сидевшей напротив госпоже фон Клейст, продолжала:

– Говори что угодно, а по-моему, впервые за пятнадцать или даже за двадцать лет, словом, с тех пор, как я научилась наблюдать и понимать, король влюблен.

– Ваше королевское высочество говорили то же самое в прошлом году по поводу мадемуазель Барберини,[21 - Барберини (правильно – Барберина) – имя итальянской падчерицы Кампанини (1721–1799). С 1743 г. выступала в итальянской труппе Берлинского оперного театра, в 1749 г. тайно обвенчалась со старшим сыном канцлера Фридриха II Самуэля фон Коччеи.] а его величество король и не думал в нее влюбляться.

– Не думал! Ошибаешься, деточка. Так много думал, что, когда молодой канцлер Коччеи женился на ней, брат целых три дня злился, как никогда в жизни, хотя и скрывал это.

– Но ведь вашему высочеству хорошо известно, что его величество терпеть не может неравных браков.

– Да, то есть браков по любви – ведь это называется так. Неравный брак! Какие громкие слова, бессмысленные, как все громкие слова, которые управляют светским обществом и тиранят человека.

Принцесса испустила глубокий вздох и вдруг, со свойственной ей быстротой меняя тему разговора, насмешливо и раздраженно сказала старшей домоправительнице:

– Мопертюи, ты слушаешь нас, а не смотришь на небесные светила, как я тебе приказала. Стоило ли выходить замуж за такого ученого человека, чтобы потом слушать болтовню двух сумасбродок, вроде фон Клейст и меня!.. Так вот, – продолжала она, обращаясь к своей любимице, – король и в самом деле чуть-чуть любил эту Барберини. Я знаю из верного источника, что часто после театра он заходил к ней выпить чашку чаю вместе с Жорданом[22 - Жордан Шарль-Этьен (1700–1745) – литератор, близкий друг Фридриха II. Ведал благотворительными и учебными заведениями, был вице-президентом берлинской Академии наук.] и Шазолем[23 - Шазоль – по-видимому, Исаак-Франсуа-Эгмонт Шазо (1716–1797) – друг Фридриха II, французский аристократ, бежавший в Пруссию вследствие преследований, вызванных дуэлью.] и даже, что она не раз бывала на ужинах в Сан-Суси,[24 - Сан-Суси (фр. saris-sou ci – «беззаботность») – дворец Фридриха в Потсдаме, построенный в 1745–1747 гг.] а до нее такое событие было немыслимо в жизни Потсдама. Если хочешь, я скажу тебе больше. Она жила там в отведенных ей апартаментах неделями, а может быть, и месяцами. Как видишь, я довольно недурно знаю то, что происходит, и таинственный вид моего брата меня нисколько не обманывает.

– Раз вашему королевскому высочеству так хорошо все известно, вы знаете и то, что по причинам... государственного порядка, о которых мне не подобает догадываться, королю иногда угодно бывает внушать окружающим мнение, будто он не так уж суров, как предполагают, хотя в действительности...

– Хотя в действительности брат никогда не любил ни одну женщину, даже и собственную жену, – ведь так? А я не верю в его пресловутую добродетель и еще меньше – в его холодность. Фридрих всегда был лицемером. Но он никогда не заставит меня поверить, будто мадемуазель Барберини подолгу жила у него во дворце единственно для того, чтобы ее считали его любовницей. Она красива, как ангел, и умна, как дьявол, хорошо образованна и говорит не знаю уж на скольких языках.

– Она порядочная женщина и обожает своего мужа.

– А муж обожает ее – тем более что это чудовищный мезальянс, не так ли, фон Клейст? Ага, ты не отвечаешь? Уж не задумала ли и ты сама, благородная вдова, другой мезальянс с каким-нибудь бедным пажом или жалким бакалавром?

– А вашему высочеству хотелось бы увидеть еще один мезальянс – мезальянс сердца – между королем и какой-нибудь девицей из Оперы?

– Ах, будь то Порпорина, эта связь была бы более вероятна, а дистанция меньше пугала бы меня. Мне кажется, на сцене, как и при дворе, существует определенная иерархия: ведь этот предрассудок – выдумка и болезнь человеческого рода. Певица ценится значительно выше, нежели танцовщица. К тому же говорят, что эта Порпорина еще более умна, образованна, воспитанна, мила, и, наконец, что она знает даже больше разных языков, чем Барберини. А ведь желание уметь говорить на тех языках, которых он не знает, – это мания моего брата. И потом, музыка, которую он якобы так любит, хотя в действительности ему нет до нее дела... Понимаешь? Вот еще одна точка соприкосновения с нашей примадонной. И ведь она тоже ездит летом в Потсдам, занимает те же самые апартаменты, которые занимала в новом Сан-Суси Барберини, поет на интимных концертах короля... Разве всего этого мало, чтобы подтвердить мою догадку?

– Напрасно ваше высочество льстит себя надеждой обнаружить какую-нибудь слабость в жизни нашего великого короля. Все это делается слишком явно и слишком обдуманно, чтобы можно было заподозрить тут хоть самую малость любви.

– Не любви, нет, Фридрих не знает, что такое любовь. Но, быть может, тут увлечение, интрижка. Ты не станешь отрицать, что об этом шепчутся

решительно все.

- Да, но никто этому не верит. Все думают, что король, стремясь рассеять скуку, пытается развлечься, слушая болтовню и красивые рулады актрисы, но что после четверти часа такой болтовни и рулад он говорит ей, как сказал бы любому из своих секретарей: «На сегодня хватит. Если мне захочется послушать вас завтра, я дам вам знать».

- Да, не слишком любезно. Если именно так он ухаживал за госпожой фон Кочеи, то неудивительно, что она его не выносила. А эта Порпорина ведет себя с ним так же нелюбезно?

- Говорят, она необыкновенно скромна, благовоспитанна, робка и печальна.

- О, это лучший способ понравиться королю! Как видно, она хитрая особа! Ах, если бы так! И если бы можно было довериться ей!

- Умоляю вас, принцесса, никому не доверяйтесь – даже госпоже Мопертюи, которая спит сейчас таким крепким сном.

- Пусть ее храпит. Спит она или бодрствует – одинаково глупа... Так вот, фон Клейст, мне бы хотелось познакомиться с этой Порпориной и узнать, может ли она быть мне чем-нибудь полезна. Очень жаль, что я не согласилась принять ее, когда король предлагал привезти ее ко мне как-то утром, чтобы я послушала ее пение: знаешь, я почему-то была предубеждена против нее.

- И, разумеется, напрасно. Ведь нельзя же было предположить, что...

- Ах, будь что будет! Горе и отчаяние так истерзали меня за последний год, что все второстепенные заботы уже исчезли. Я хочу видеть эту девушку. Как знать, а вдруг она сможет добиться от короля того, о чем мы тщетно его умоляем? Вот уже несколько дней, как я думаю об этом, и сегодня – ты ведь знаешь, что я не могу думать ни о чем другом, – итак, сегодня, увидев, как встревожил и испугал Фридриха ее обморок, я утвердилась в мысли, что якорь спасения – это именно она.

- Берегитесь, ваше высочество... Опасность очень велика.

– Ты всегда твердишь одно и то же. Я еще более подозрительна и осторожна, чем ты. И все-таки надо поразмыслить об этом. Проснись, моя милая Мопертюи, мы приехали.

II

В то время как молодая и красивая аббатиса[25 - «...красивая аббатиса...» - Известно, что Фридрих раздавал аббатства, каноникаты и епископства своим фаворитам, офицерам и родственникам-протестантам. Принцесса Амалия, упорно отказывавшаяся от замужества, получила от него в дар аббатство Кведлинбургское, дававшее сто тысяч ливров дохода, и носила звание аббатисы, подобно католическим настоятельницам. (Прим. автора.)] занималась этой беседой, сам король без стука входил в уборную Порпорины, начинавшей уже приходить в себя.

– Ну что, мадемуазель, – сказал он ей не слишком сочувственным и даже не слишком вежливым тоном, – как вы себя чувствуете?.. Вы, оказывается, подвержены подобным припадкам? При вашей профессии это весьма неудобно. Может быть, у вас была какая-нибудь неприятность? Неужели вы так больны, что не можете даже ответить мне? Тогда отвечайте вы, сударь, – сказал он врачу, который суетился возле певицы. – Она действительно больна?

– Да, государь, – ответил врач, – пульс едва прощупывается. Кровообращение нарушено, и все жизненные функции как бы приостановлены. Кожный покров похолодел.

– В самом деле, – сказал король, взяв руку молодой девушки. – Взгляд остановился, губы побледнели. Дайте ей выпить гофманских капель,[26 - Гофманские капли – капли, составленные по рецепту знаменитого немецкого врача Фридриха Гофмана (1660–1742).] черт побери! Я опасался, что это притворство, но вижу, что ошибся. Девушка тяжело больна. Она не зла и не капризна, вы согласны со мной, господин Порпорино? Может быть, кто-нибудь огорчил ее нынче? У нее ведь не может быть врагов, правда?

– Государь, это не актриса, – ответил Порпорино. – Это ангел.

- Ни больше, ни меньше! Уж не влюблены ли вы в нее?

- Нет, государь, я питаю к ней безграничное уважение и люблю как сестру.

- Благодаря вам обоим и Богу, который перестал проклинать актеров, мой театр скоро превратится в школу добродетели. Ага, вот она приходит в себя.

Порпорина, вы не узнаете меня?

- Нет, сударь, - ответила Порпорина, растерянно глядя на короля, который легонько ударял ее по рукам.

- Кажется, она бредит, - сказал король. - Вы никогда не замечали у нее приступов эпилепсии?

- О нет, ваше величество, никогда! Это было бы ужасно, - ответил Порпорино, задетый бесцеремонностью, с какой король говорил о замечательной актрисе.

- Нет, нет, не пускайте ей кровь, - сказал король, отталкивая врача, который собирался вооружиться ланцетом. - Я не могу спокойно видеть, как льется невинная кровь, когда это происходит не на поле битвы. Вы, лекари, не воины - вы просто убийцы! Оставьте ее в покое. Дайте ей воздуху. Порпорино, не позволяйте пускать ей кровь - это может ее убить. Ведь эти господа ни перед чем не останавливаются. Поручаю ее вам, Пельниц! Отвезите ее домой в своей карете. Вы отвечаете мне за нее. Это самая великолепная певица из тех, что были у нас до сих пор, и нам не скоро удастся найти такую же. Кстати, а что вы споете мне завтра, Кончолини?

Спускаясь с лестницы театра вместе с тенором, он говорил уже о другом, затем отправился ужинать во дворец, где в столовой уже сидели Вольтер, Ламетри, д'Аржанс, Альгаротти[27 - Альгаротти Франческо (1712-1764) - итальянский литератор и ученый, знаток изящных искусств, по поручению польского короля Августа III занимался пополнением Дрезденской галереи. Был близок к Фридриху II, который возвел его в графское достоинство и назначил камергером.] и генерал Квинт Ицилий.[28 - Квинт Ицилий - любимец Фридриха II Карл Готлиб Гишар (1712-1775) - автор трудов по истории военного дела в древнем мире. В беседе с Гишаром Фридрих II однажды заметил, что имя Квинт Ицилий носил один из римских центурионов времен Цезаря, Гишар с ним не согласился, и тогда король стал называть этим именем его самого.]

Фридрих был жесток и глубоко эгоистичен. При всем том он бывал порой великодушен и добр, а иной раз даже нежен и отзывчив. И это отнюдь не парадокс. Все знают страшный и в то же время пленительный характер этого многогранного человека, эту сложную натуру, которая была полна противоречий, как у всех сильных людей, если они к тому же облечены неограниченной властью и ведут бурную жизнь, способствующую развитию всех их недостатков и достоинств.

За ужином, поддерживая язвительно-остроумную, пересыпанную тонкими, а иногда и грубоватыми шутками беседу с этими милыми друзьями, которых он совсем не любил, с этими умными людьми, которыми он отнюдь не восхищался, Фридрих внезапно впал в задумчивость и после нескольких минут молчания сказал, вставая из-за стола:

– Продолжайте беседу, я слушаю вас.

С этими словами он уходит в соседнюю комнату, берет шляпу и шпагу, делает пажу знак следовать за собой и исчезает в глубине длинных коридоров и потайных лестниц своего старого дворца, меж тем как гости, полагая, что он находится где-то поблизости, по-прежнему взвешивают каждое слово и не осмеливаются сказать друг другу ничего такого, чего бы не мог слышать король. Впрочем, все они до такой степени (и не без основания) не доверяли друг другу, что в любом уголке прусской земли ощущали реявший над ними призрак грозного и коварного Фридриха.

Ламетри – врач, с которым король почти никогда не советовался, и чтец, которого он почти никогда не слушал, – был единственным, кто не знал страха и никому его не внушал. Все считали его совершенно безобидным, а он нашел средство сделаться совершенно неуязвимым. Средство было таково: он говорил в присутствии короля такие дерзости и совершал такие безрассудства, что ни один враг, ни один доносчик не смог бы обвинить его в проступке, который он сам не проделал бы на глазах у короля с величайшей смелостью и совершенно открыто. Казалось, он понимал буквально те софизмы о всеобщем равенстве, которыми якобы руководствовался король в узком кругу семи или восьми человек, удостоившихся его близости. В эту пору, после десятка лет царствования, Фридрих, человек еще молодой, не совсем утратил снискавшую ему расположение народа приветливость обращения, какой отличался наследный принц, дерзкий философ Ремисберга.[29 - Ремисберг (правильно –

Рейнсберг) – поместье, в котором кронпринц Фридрих жил в 1736–1740 гг., занимаясь в обществе близких друзей изучением философии и древних авторов.] Люди, хорошо его знавшие, и не думали доверять этой приветливости. Вольтер, самый избалованный из всех и прибывший сюда последним, уже начинал, однако, тревожиться, замечая, как из-под маски доброго государя проглядывает тиран, а из-под маски Марка Аврелия[30 - Марк Аврелий (121–180) – римский император, философ-стоик. Пользовался репутацией гуманного и доброго правителя.] – Дионисий. Ламетри (что это было – беспримерная искренность, тонкий расчет или дерзкая беспечность?) вел себя с королем так бесцеремонно, как того якобы желал сам король. Он снимал в его апартаментах галстук, парик, чуть ли не башмаки, лежал, развалившись на его кушетках, не стесняясь высказывал ему свои мысли, при всех противоречил ему, не задумываясь объявлял пустяками такие вещи, как королевская власть, религия и все прочие «предрассудки», в которых пробил брешь «свет разума» сегодняшнего дня. Словом, он вел себя как настоящий циник и подавал столько поводов для немилости и удаления, что казалось просто чудом, как это он все еще стоит на ногах, в то время как столько других давно опрокинуты и раздавлены из-за куда менее значительных провинностей. Дело в том, что на подозрительные, недоверчивые натуры, – а именно таков был Фридрих, – какая-нибудь неосторожная фраза, подслушанная и переданная шпионом, малейшее подозрение в лицемерии действуют сильнее, нежели тысяча необдуманных поступков. Фридрих считал Ламетри настоящим безумцем и нередко поражался, говоря про себя: «Ну и скотина! Его бесстыдство превосходит все границы».

Но тут же добавлял: «Зато это человек искренний, не двоедушный, не двуличный. Он не способен злословить исподтишка, раз высказывает свою злобу прямо мне в лицо. Вот другие пресмыкаются передо мной, но кто знает, что они говорят и думают, когда я поворачиваюсь к ним спиной и они встают во весь рост? Стало быть, Ламетри – честнейший из всех моих придворных, и я должен выносить его, хоть он и невыносим».

Так шло и дальше. Ламетри уже не мог рассердить короля и даже ухитрился рассмешить Фридриха такими шутками, каких тот не простил бы никому другому. В то время как Вольтер с самого начала вступил на путь неумеренного славословия, которое начинало уже тяготить его самого, циник Ламетри вел себя по-прежнему, приятно проводил время, чувствуя себя с Фридрихом так же непринужденно, как с первым встречным, и ему не приходилось проклинать и ниспровергать кумира, которому он никогда ничем не жертвовал и ничего не обещал. Именно поэтому Фридрих, начавший уже скучать в обществе Вольтера, по-прежнему веселился, дружески беседуя с Ламетри, и не мог без него

обойтись: ведь это был единственный человек, не притворявшийся, что ему весело в обществе короля.

Маркиз д'Аржанс состоял в должности камергера с окладом в шесть тысяч франков (обер-камергер Вольтер получал двадцать тысяч). То был легкомысленный философ, способный, но поверхностный литератор, истинный француз своего времени, добрый, ветреный, распутный, чувствительный, храбрый и в то же время изнеженный, остроумный, великодушный и насмешливый; человек неопределенного возраста, мечтательный, как юноша, и склонный к скептицизму, как старик, он всю свою молодость отдал актрисам, то обманывая их, то будучи обманут сам, без памяти влюблялся в каждую и в конце концов тайно женился на мадемуазель Кошуа, лучшей актрисе Французской комедии в Берлине, особе некрасивой, но умной, которой ему вздумалось дать образование. Фридрих еще не знал об этом тайном союзе, и д'Аржанс остерегался говорить о нем тем, кто мог его выдать. Вольтер, однако, был посвящен в тайну. Д'Аржанс искренне любил короля, но тот любил его не больше, чем всех остальных. Фридрих не верил в чью бы то ни было привязанность, и бедный д'Аржанс оказывался то соучастником, то мишенью самых жестоких его шуток.

Известно, что полковник, которого Фридрих наградил высокопарным прозвищем Квинта Ицилия, был попросту француз Гишар, неутомимый воин и ученый стратег, а впрочем, изрядный мошенник, как все люди такого толка, и царедворец в полном смысле этого слова.

Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем исторических лиц, не будем говорить об Альгаротти. Расскажем только, как вели себя гости Фридриха в его отсутствие. Впрочем, мы уже упомянули, что они не только не освободились от угнетавшего их тайного смущения, а, напротив, почувствовали себя еще хуже и при каждом слове поглядывали на полуоткрытую дверь, в которую вышел король и за которой он, быть может, наблюдал за ними.

Исключением оказался один Ламетри. Заметив, что в отсутствие короля им стали небрежно прислуживать за столом, он вскричал:

– Что же это такое, черт побери! По-моему, со стороны хозяина крайне неучтиво оставлять нас без слуг и без шампанского. Пойду взгляну, там ли он, и выскажу ему свое неудовольствие.

Он встал, вошел, не побоявшись быть нескромным, в опочивальню короля и тотчас вернулся с возгласом:

– Никого! Нет, как вам это понравится? Ничуть не удивлюсь, если окажется, что он сел на коня и совершает при свете факелов прогулку, чтобы ускорить процесс пищеварения. Вот чудак!

– Сами вы чудак! – ответил Квинт Ицилий, который никак не мог привыкнуть к странному поведению Ламетри.

– Так, стало быть, король ушел? – спросил Вольтер, вздохнув свободнее.

– Да, король ушел, – сказал, входя в комнату, барон фон Пельниц. – Я только что встретил его на заднем дворе в сопровождении одного-единственного пажа. Он был в сером плаще, который всегда надевает, когда хочет, чтобы его не узнали, и, разумеется, я его не узнал.

Мы должны сказать несколько слов о третьем камергере – новом госте, только что вошедшем в столовую, – не то читатель не поймет, каким образом кто-либо, кроме Ламетри, посмел столь дерзко отозваться о властелине. Пельниц, чей возраст был так же загадочен, как размер его содержания и его обязанности, был тот самый прусский барон, тот светский развратник времен Регентства, который в молодости блистал при дворе графини Пфальцской – матери герцога Орлеанского, – тот самый неистовый игрок, чьи долги уже отказался платить прусский король, тот авантюрист крупного масштаба, циничный и распутный, весьма склонный к наущничеству и немного мошенник, тот наглый царедворец, которого держал на привязи, кормил, презирал, осыпал насмешками и весьма скупно оплачивал его хозяин. И все-таки этот хозяин не мог без него обойтись, ибо всякий неограниченный властелин ощущает потребность иметь под рукой человека, который способен на любую подлость, ибо находит в этом некоторое возмещение своих собственных унижений и смысл своего существования. Вдобавок, Пельниц состоял в то время директором театров его величества, своего рода главным распорядителем придворных увеселений. Его тогда уже называли стариком Пельницем, как называли тридцать лет спустя. Это был вечный царедворец – ведь некогда он был пажом покойного короля. Утонченный разврат в духе Регентства сочетался в нем с грубым цинизмом Табачной коллегии[31 - Табачная коллегия – так назывались вечера, которые Фридрих Вильгельм I регулярно устраивал для придворных и высших офицеров... Участники их курили глиняные трубки, пили пиво и упражнялись в остроумии.]

Вильгельма Толстого и с дерзкой непреклонностью царствования Фридриха Великого, отмеченного остроумием и военщиной. Так как единственной милостью со стороны последнего была постоянная опала, Пельниц не слишком боялся ее потерять, тем более что роль наемного подстрекателя, которую он неизменно играл, действительно делала его неуязвимым для чьих бы то ни было наветов в глазах повелителя, чьи поручения он выполнял.

- Черт побери! - вскричал Ламетри. - Надо бы вам, милейший барон, пойти следом за королем, а потом прийти сюда и рассказать нам его приключения. Вот бы мы помучили его потом - получилось бы так, словно мы, не вставая из-за стола, видели, где он был и что делал.

- Или лучше того, - со смехом подхватил Пельниц, - сказали бы ему об этом только завтра, а свою прозорливость приписали бы чародею.

- Что это еще за чародей? - спросил Вольтер.

- Знаменитый граф де Сен-Жермен.[32 - Сен-Жермен (? - 1784) - известный авантюрист XVIII в. Сумел приобрести расположение многих европейских монархов, выдавая себя за алхимика и мага. Уверял, что прожил две тысячи лет и помнит Иисуса Христа.] Нынче утром он появился в Берлине.

- Вот как! Интересно бы узнать, кто он - шарлатан или сумасшедший.

- Это нелегкое дело, - ответил Ламетри. - Он так искусно скрывает свою игру, что никто не может сказать про него ничего определенного.

- Видно, не такой уж он сумасшедший! - вставил Альгаротти.

- Поговорим о Фридрихе, - сказал Ламетри. - Мне хочется какой-нибудь занятной историей возбудить его любопытство, а он в награду угостит нас Сен-Жерменом и его допотопными приключениями. Это будет очень забавно. Но где же все-таки сейчас наш монарх? Барон, вы знаете, где он! Вы чересчур любопытны и, конечно, проследили за ним или чересчур хитры и уже давно обо всем догадались.

- Если угодно, я готов рассказать... - начал Пельниц.

– Надеюсь, сударь, – побагровев от негодования, вмешался Квинт, – что вы не станете отвечать на странные вопросы Ламетри. Если его величество...

– Ах, милейший, – перебил его Ламетри, – с десяти часов вечера до двух утра здесь нет никакого величества. Фридрих установил это раз и навсегда, и я знаю лишь один закон: «За ужином король не существует». Да разве вы не видите, что бедняга король скучает, и разве вы, плохой слуга и плохой друг, не хотите хотя бы в отрадные ночные часы помочь ему забыть о гнете его величия? Ну, Пельниц, ну, добрый барон, скажите же нам, где сейчас король?

– Я не желаю этого знать! – заявил Квинт, выходя из-за стола.

– Как хотите, – сказал Пельниц. – Пусть те, кто не желает слушать, заткнут уши!

– Я весь превратился в слух, – сказал Ламетри.

– Я тоже, черт побери, – смеясь сказал Альгаротти.

– Господа, – проговорил Пельниц. – Его величество находится сейчас у синьоры Порпорины.

– Да вы просто морочите нас! – вскричал Ламетри. И добавил латинскую фразу, которую я не могу перевести, так как не знаю латыни.

Квинт Ицилий побледнел и вышел. Альгаротти прочитал вслух итальянский сонет, который тоже остался для меня не вполне понятным. А Вольтер тут же сочинил четверостишие, сравнивая Фридриха с Юлием Цезарем. После чего три ученых мужа с улыбкой переглянулись, а Пельниц повторил с серьезным видом:

– Даю вам честное слово, что король сейчас у Порпорины.

– Не могли бы вы преподнести нам что-нибудь другое? – сказал д'Аржанс, который был недоволен этим разговором, ибо не принадлежал к числу людей, выдающих чужие тайны, чтобы поднять свой авторитет.

Пельниц нимало не смутился:

– Тысяча чертей, господин маркиз! Когда король говорит, что вы находитесь у мадемуазель Кошуа, мы и не думаем возмущаться. Почему же вас так возмущает тот факт, что король находится у мадемуазель Порпорины?

– Напротив, он мог бы стать для вас весьма поучительным, – возразил Альгаротти, – и, если это правда, я поеду сообщить об этом в Рим.

– Его святейшество любит позубоскалить, – добавил Вольтер, – и он отпустит на этот счет какую-нибудь забавную шутку.

– Над чем это будет зубоскалить его святейшество? – спросил король, неожиданно появляясь в дверях столовой.

– Над любовными похождениями Фридриха Великого и Порпорины из Венеции, – дерзко ответил Ламетри.

Король побледнел и бросил грозный взгляд на своих гостей; гости тоже побледнели – кто больше, кто меньше, – все, за исключением Ламетри.

– Ничего не поделаешь, – спокойно заявил Ламетри. – Сегодня вечером в театре господин де Сен-Жермен предсказал, что в тот час, когда Сатурн пройдет между Львом и Девой, его величество, в сопровождении пажа...

– Что же он такое, этот граф де Сен-Жермен? – спросил король, невозмутимо сядя за стол и протягивая свой стакан Ламетри, чтобы тот налил ему шампанского.

Все заговорили о Сен-Жермене, и буря рассеялась, так и не разразившись. В первую минуту наглость Пельница, который его предал, и смелость Ламетри, который осмелился сказать это вслух, преисполнили короля гневом, но Ламетри еще не успел закончить фразу, как Фридрих вспомнил, что сам поручил Пельницу при первом удобном случае затеять разговор на известную тему и послушать, что будут говорить другие. Поэтому он тут же овладел собой с той необычайной непринужденностью и легкостью, какие были присущи ему одному, и никто больше не упомянул и словом о его ночной прогулке. Ламетри, конечно, не побоялся бы снова о ней заговорить, но мысли его немедленно приняли иное направление, которое предложил король. Так Фридрих часто побеждал даже Ламетри, обращаясь с ним как с ребенком, который вот-вот разобьет зеркало

или выпрыгнет из окна, если не отвлечь его от этого каприза какой-нибудь игрушкой. Каждый высказал свое мнение о знаменитом графе де Сен-Жермене, каждый рассказал свой анекдот. Пельниц заявил, будто встречался с графом во Франции двадцать лет назад.

– И когда я увидел его сегодня утром, – добавил он, – мне показалось, что мы расстались только вчера – он ничуть не постарел. Помнится, как-то вечером во Франции, когда речь зашла о страстях Господа нашего Иисуса Христа, он вдруг воскликнул с самой забавной серьезностью: «Ведь говорил же я ему, что его ждет плохой конец у этих злых иудеев. Я даже предсказал ему почти все, что с ним произошло впоследствии, но он не пожелал меня слушать – рвение заставляло его презирать любую опасность. Его трагическая гибель вызвала у меня такую скорбь, что я никогда не утешусь, и до сих пор не могу думать о нем без слез». Тут этот проклятый граф и в самом деле заплакал, и все мы тоже готовы были пролить слезу.

– Вы такой примерный христианин, – сказал король, – что меня это несколько не удивляет.

Пельниц три или четыре раза внезапно менял религию ради выгодных должностей, которыми король его соблазнял, желая поразвлечься.

– Ваша история давно всем известна, – сказал д'Аржанс барону, – это просто выдумка. Я слышал кое-что получше. Нет, в моих глазах граф де Сен-Жермен интересен и замечателен тем, что у него есть множество совершенно новых и остроумных суждений об исторических событиях, оставшихся для нас неясными и загадочными. По слухам, о каком бы предмете, о какой бы эпохе с ним ни заговорили, он поражает собеседника своими познаниями или умением тут же привести множество вполне правдоподобных и интересных суждений, проливающих новый свет на самые таинственные факты.

– Если эти суждения действительно правдоподобны, – заметил Альгаротти, – значит, он человек необыкновенно образованный и обладает к тому же поразительной памятью.

– Более того! – сказал король. – Одного образования недостаточно, чтобы объяснить историю. Очевидно, этот человек наделен могучим умом и глубоким знанием человеческого сердца. Интересно бы узнать, какой порок искалечил эту

прекрасную натуру – желание ли сыграть исключительную роль, приписать себе бессмертие и память о событиях, которые предшествовали существованию этого человека, или он просто заболел навязчивой идеей вследствие глубоких размышлений и длительных научных занятий.

– Могу поручиться перед вашим величеством хотя бы в одном, – сказал Пельниц, – в искренности и скромности нашего героя. Граф крайне неохотно рассказывает о чудесных событиях, коих, как ему кажется, он был свидетелем. Ему стало известно, что его считают фантазером, шарлатаном, и, видимо, это очень ему неприятно, так как теперь он отказывается обнаружить свое сверхъестественное могущество.

– Скажите, государь, разве вы не умираете от желания увидеть и услышать его? – спросил Ламетри. – Я просто сгораю от нетерпения.

– Неужели такие вещи могут вас интересовать? – возразил король. – Зрелище безумия далеко не забавно.

– Согласен, если это действительно безумие. Ну, а если нет?

– Вы слышите, господа? – сказал король. – Человек, который ни во что не верит, закоренелый атеист, увлекается чудесами и уже готов поверить в бессмертие господина де Сен-Жермена! Впрочем, это не удивительно – ведь все знают, что Ламетри боится смерти, грома и привидений.

– Не отрицаю, бояться привидений действительно глупо, – сказал Ламетри, – но что касается грома и всего, что может стать причиной смерти, – тут мои страхи вполне обоснованны и разумны. Чего же нам бояться, черт побери, если не того, что может угрожать безопасности нашей жизни?

– Да здравствует Панург!^[33 - Панург – персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532), веселый озорник, презирающий условности и предрассудки.] – воскликнул Вольтер.

– Возвращаюсь к Сен-Жермену, – снова начал Ламетри. – Мессиру Пантагрюэлю^[34 - Пантагрюэль и его отец Гаргантюа – образы, в которых Рабле воплощает свой идеал разумного и просвещенного монарха.] следовало бы завтра же пригласить его отужинать с нами.

– Ни в коем случае, – возразил король. – Вы и без того не совсем в своем уме, мой бедный друг. Стоит Сен-Жермену появиться у меня в доме, как все суеверные лица, – а их так много вокруг нас, – мигом придумают сотню небылиц и разнесут их по всей Европе. Нет, нам нужен разум, дорогой Вольтер. О, разум, да придет царствие твое! Вот молитва, которую мы должны повторять каждый вечер и каждое утро.

– Разум, разум! – сказал Ламетри. – Я нахожу его удобным и приятным, когда он помогает мне оправдать и узаконить мои страсти, пороки... мои желания, назовите это как хотите! Но когда он мне докучает, я хочу иметь право выставить его за дверь. Мне не нужен такой разум – черт бы его побрал! – который заставляет меня притворяться храбрецом, когда мне страшно, стоиком, когда мне больно, смиренным, когда я вне себя от гнева... Плевать мне на такой разум, я его не признаю. Это какое-то чудовище, химера, изобретенная старыми болтунами античности, которыми все вы так восхищаетесь неизвестно почему. Пусть царствие его не придет никогда! Я не поклонник неограниченной власти, в чем бы она ни проявлялась, и, если бы кому-нибудь вздумалось принудить меня не верить в Бога, – а я не верую добровольно и совершенно искренне, – пожалуй, я бы тотчас отправился на исповедь, просто из духа противоречия.

– О, как известно, вы способны на все, – сказал д'Аржанс, – даже на то, чтобы уверовать в философский камень графа де Сен-Жермена.

– А почему бы нет? Это было бы так приятно и так пригodiлось бы мне!

– Философский камень! [35 - Философский камень – фантастическое вещество, которое, по представлениям средневековых алхимиков, может превращать все металлы в золото, излечивать болезни и возвращать молодость.] – вскричал Пельниц, потряхивая своими пустыми, беззвучными карманами и выразительно глядя на короля. – О да, пусть придет царствие его, и поскорей! Такую молитву я готов читать каждое утро и каждый вечер...

– Ах, вот оно что! – перебил его Фридрих, который всегда был глух к подобным намекам. – Стало быть, ваш Сен-Жермен причастен также и к искусству делать золото? Этому я не знал!

– Так позвольте же мне от вашего имени пригласить его к ужину на завтра, – сказал Ламетри. – Думаю, что и вам не мешало бы проникнуть в его тайну, господин Гаргантюа. У вас большие потребности и гигантские аппетиты – и как у короля, и как у преобразователя.

– Замолчи, Панург, – ответил Фридрих. – Отныне твой Сен-Жермен разоблачен. Это дерзкий обманщик, и я прикажу установить за ним бдительный надзор, ибо нам известно, что люди, владеющие этим прекрасным искусством, обычно вывозят из страны больше золота, нежели оставляют в ней. Разве вы уже успели забыть, господа, знаменитого чародея Калиостро, [Зб - Калиостро Алессандро (1743–1795) – знаменитый авантюрист, объездивший все страны Европы. Публицистическая и мемуарная литература XVIII в. полна сообщений о приключениях и «чудесах» Калиостро, выдававшего себя за медика, алхимика, заклинателя духов. В 1789 г. в Риме он был арестован; умер в крепости.] которого я велел выгнать из Берлина не более шести месяцев назад?

– И который увез у меня сотню экю, – подхватил Ламетри. – Пусть дьявол отнимет их у него!

– Он увез бы их и у Пельница, если бы только они у него были, – добавил д'Аржанс.

– Вы прогнали его, – сказал Фридриху Ламетри, – а он оплатил вам недурной шуткой.

– Какой?

– Ах, вы ничего не знаете? Так я угощу вас одним рассказом.

– Главное достоинство всякого рассказа – его краткость, – заметил король.

– Мой заключается в двух словах. Всем известно, что в тот день, когда ваше пантагрюэльское величество приказали великому Калиостро убираться восвояси вместе с его кубами, ретортами, привидениями и дьяволами, в тот самый день, ровно в двенадцать часов пополудни, он собственной персоной проехал в своей коляске через все городские заставы Берлина одновременно. Да, да, это могут засвидетельствовать более двадцати тысяч человек. Каждый из сторожей, охраняющих заставы, видел его в той же шляпе, в том же парике, в той же

самой коляске, с тем же багажом, на тех же лошадях, и вам никогда не удастся разубедить их в том, что в этот день существовало пять или шесть живых Калиостро.

Рассказ понравился всем. Не смеялся только Фридрих. Он весьма серьезно интересовался успехами милого его сердцу разума, и проявления суеверия, доставлявшие столько пищи для остроумия и веселости Вольтеру, вызывали у него лишь возмущение и досаду.

– Вот он, народ! – вскричал король, пожимая плечами. – Ах, Вольтер, вот он, народ! И это в то самое время, когда живете вы, когда яркий свет вашего факела озаряет весь мир! Вас изгнали, подвергли преследованиям, с вами боролись всеми возможными способами, а Калиостро – стоит ему где-нибудь показаться, и все уже околдованы. Еще немного, и его будут носить на руках!

– А знаете ли вы, – спросил Ламетри, – что самые знатные ваши дамы так же верят в Калиостро, как и добрые кумушки из простонародья? Да будет вам известно, что эту историю мне передала самая хорошенькая из ваших придворных дам.

– Держу пари, что это госпожа фон Клейст! – сказал король.

– «Ты сам ее назвал!»[37 - «Ты сам ее назвал!» – слегка измененная цитата из «Федры» Расина (акт I, сц. 3).] – продекламировал Ламетри.

– Вот он уже на ты с королем, – проворчал Квинт Ицилий, за несколько минут до того вошедший в комнату.

– Милейшая фон Клейст совсем помешалась, – сказал Фридрих. – Она самая заядлая фантазерка, самая ярая поклонница гороскопов и волшебства... Надо проучить ее – пусть будет поосторожнее! Она сбивает с толку всех наших дам и, говорят, заразила своим помешательством даже собственного супруга: он приносит в жертву дьяволу черных козлов, чтобы разыскать сокровища, зарытые в бранденбургских песках.

– Но ведь все это считается у вас образцом самого хорошего тона, папаша Пантагрюэль, – сказал Ламетри. – Неужели вам угодно, чтобы и женщины подчинились вашему угрюмому богу – Разуму? Женщины существуют, чтобы

развлекаться и развлекать нас. Право же, в тот день, когда они потеряют свое безрассудство, мы сами окажемся в дураках! Госпожа фон Клейст очень мила, когда рассказывает о магах и чародеях. И щедро угощает ими Soror Amalia...

- Что это еще за Soror Amalia? - с удивлением спросил король.

- Да ваша благородная и прелестная сестра - аббатиса Кведлинбургская. Ни для кого не секрет, что она всем сердцем предана магии и...

- Замолчи, Панург! - прогремел король, стукнув табакеркой по столу.

III

Наступило молчание, и часы медленно пробили полночь.[38 - Спектакли в Опере начинались и заканчивались раньше, чем в наши дни. Ужин Фридриха начинался в десять часов. (Прим. автора.)] Обычно Вольтер, когда чело его дорогого Траяна[39 - Траян (ок. 53 - 117) - римский император. Средневековые легенды прославили его как честного и правдивого государя.] омрачалось, умел искусно переменить разговор и сгладить неприятное впечатление, невольно отражавшееся и на остальных сотрапезниках. Однако в этот вечер Вольтер, печальный и больной, сам испытывал глухой отголосок того прусского сплина, который быстро овладевал всеми счастливыми смертными, призванными созерцать Фридриха в ореоле его славы. Как раз сегодня утром Ламетри передал ему роковую фразу Фридриха, которой суждено было преобразить притворную дружбу этих двух выдающихся людей в весьма реальную вражду.[40 - «Я еще держу его при себе, потому что он мне нужен. Через год он мне не понадобится, и тогда я избавлюсь от него. Я выжимаю апельсин, а потом выбрасываю кожуру». Известно, что эта фраза ранила самолюбие Вольтера. (Прим. автора.)] Поэтому он не сказал ни слова. «Пусть он выбрасывает кожуру Ламетри, когда ему вздумается, - думал Вольтер. - Пусть сердится, пусть страдает, только бы поскорее закончился этот ужин. У меня резь в животе, и все его любезности не облегчат моей боли».

Итак, Фридриху волей-неволей пришлось сделать над собой усилие и обрести свое философское спокойствие без посторонней помощи.

– Раз уж зашла речь о Калиостро, – сказал он, – и только что пробил час, когда принято говорить о привидениях, я расскажу вам одну историю, и вы сами поймете, как следует относиться к искусству чародеев. Это приключение – чистая правда, ее рассказал мне тот самый человек, с которым оно произошло прошлым летом. Сегодняшний случай в театре напомнил мне о нем, и, быть может, этот случай имеет какую-то связь с тем, что вы сейчас услышите.

– А история будет страшная? – спросил Ламетри.

– Возможно! – ответил король.

– Если так, я затворю дверь, что за моей спиной. Не выношу открытых дверей, когда говорят о привидениях и чудесах.

Ламетри закрыл дверь, и король начал:

– Как вы знаете, Калиостро умел показывать легковверным людям картины, или, вернее, своего рода волшебные зеркала, в которых по его желанию появлялись изображения отсутствующих людей. Он уверял, что застаёт этих людей врасплох и таким образом показывает их в самые сокровенные и самые интимные минуты их жизни. Ревнивые женщины ходили к нему, чтобы узнать о неверности мужей или любовников. Бывало и так, что любовники и мужья получали у него самые невероятные сведения о поведении некоторых дам, и, говорят, волшебное зеркало выдало множество тайных пороков. Так или иначе, но итальянские певцы оперного театра однажды вечером пригласили Калиостро на веселый ужин, сопровождаемый прекрасной музыкой, а взамен попросили его показать им несколько образчиков его искусства. Калиостро согласился и, назначив день, в свою очередь пригласил к себе Порпорину, Кончолини, мадемуазель д'Аструа[41 - Д'Аструа Джованна (1730–1757) – итальянская певица. В 1747 г. была приглашена в Берлинский оперный театр.] и мадемуазель Порпорину, обещая показать все, что им будет угодно. Семейство Барберини также было приглашено. Мадемуазель Жанна Барберини попросила показать ей покойного дожа Венеции, и, так как господин Калиостро весьма искусно воскрешает покойников, она увидела его, сильно перепугалась и в смятении вышла из темной комнаты, где чародей устроил ей свидание с призраком. Я сильно подозреваю, что мадемуазель Барберини любит «позубоскалить», как говорит Вольтер, и разыграла ужас нарочно, чтобы посмеяться над итальянскими актерами, которые вообще не отличаются храбростью и наотрез отказались подвергнуть себя подобному испытанию. Мадемуазель Порпорина со

свойственным ей бесстрастным видом заявила господину Калиостро, что она уверует в его искусство, если он покажет ей человека, о котором она думает в настоящую минуту и которого ей незачем называть, поскольку чародей, должно быть, читает в ее душе, как в открытой книге. «То, о чем вы меня просите, нелегко, – ответил Калиостро, – но, кажется, я смогу удовлетворить ваше желание, если только вы дадите мне самую торжественную и страшную клятву, что не обратитесь к тому, кого я вам покажу, ни с одним словом и не сделаете, пока он будет перед вами, ни одного движения, ни одного жеста». Порпорина поклялась и вошла в темную комнату с большой решительностью. Незачем напоминать вам, господа, что эта молодая особа обладает необыкновенной твердостью и прямоотой характера. Она хорошо образованна, здраво рассуждает о многих вещах, и у меня есть основания думать, что она не подвержена влиянию каких-либо ложных или узких взглядов. Порпорина так долго оставалась в комнате с призраками, что ее спутники удивились и встревожились. Все происходило, однако, в абсолютной тишине. Выйдя оттуда, она была очень бледна, и, говорят, слезы лились из ее глаз, но она тотчас же сказала товарищам: «Друзья мои, если господин Калиостро чародей, то это не настоящий чародей. Никогда не верьте тому, что он вам покажет». И не пожелала объяснить ничего более. Но несколько дней спустя Кончолини рассказал мне на одном из моих концертов об этом вечере с чудесами, и я решил расспросить Порпорину, что и сделал, как только пригласил ее петь в Сан-Суси. Заставить ее говорить оказалось нелегко, но в конце концов она рассказала следующее:

«Без сомнения, Калиостро обладает необыкновенными способами вызывать призраки, и они до такой степени похожи на реальных лиц, что самые уравновешенные люди не могут не взволноваться. Но все-таки он не волшебник, и то, что он якобы прочитал в моей душе, было, я уверена, основано на его осведомленности о некоторых обстоятельствах моей жизни. Однако эта осведомленность была неполной, и я бы не посоветовала вам, государь („Это все еще слова Порпорины“, – пояснил король), назначать его министром вашей полиции, ибо он мог бы наделать немало оплошностей. Ведь когда я попросила его показать мне одного отсутствующего человека, я имела в виду маэстро Порпору, моего учителя музыки, – сейчас он в Вене, – а вместо него я увидела в волшебной комнате одного дорогого мне друга, скончавшегося в этом году».

– Черт подери! – произнес д'Аржанс, – пожалуй, это будет потруднее, чем показать живого!

– Подождите, господа. Калиостро, имевший неточные сведения, даже не подозревал, что человек, которого он показал мадемуазель Порпорине, умер. После того как призрак исчез, он спросил у певицы, довольна ли она тем, что увидела. «Прежде всего, сударь, – ответила она, – я хотела бы понять, что это было. Объясните мне, прошу вас». – «Это не в моей власти, – ответил Калиостро. – Вы узнали, что ваш друг спокоен и что труд его приносит пользу, – этого довольно». – «Увы! – возразила синьора Порпорина. – Сами того не зная, вы причинили мне большое горе – вы показали человека, которого я не могла надеяться увидеть, и выдаете его за живого, меж тем как я сама закрыла ему глаза полгода назад». – Вот, господа, – продолжал Фридрих, – как обманываются эти чародеи, желая обмануть других, и как разрушаются их хитроумные планы из-за какой-нибудь пружинки, которой нет в механизме их тайной полиции. Правда, до известного предела они проникают в семейные тайны, в секреты личных привязанностей, и так как все человеческие судьбы более или менее сходны, а люди, склонные верить в чудеса, как правило, не слишком придирчивы, то из тридцати раз чародеи угадывают двадцать; и хотя, в десяти случаях из тридцати они ошибаются, на это никто не обращает внимания, тогда как об удачных опытах громко кричат на всех перекрестках. То же происходит и с гороскопами. Вам предсказывают целый ряд самых обыденных вещей, таких, какие неизбежно случаются со всеми людьми: например, путешествие, болезнь, потерю друга или родственника, получение наследства, какую-нибудь встречу, интересное письмо и другие самые заурядные события человеческой жизни. Но вдумайтесь, на какие катастрофы, на какие горести обрекают людей слабых и впечатлительных ложные откровения этакого Калиостро! Поверив ему, муж убьет ни в чем не повинную жену; мать, которой покажут, как где-то вдали умирает ее отсутствующий сын, сойдет с ума от горя, а сколько других несчастий причиняет лженаука этих мнимых прорицателей! Все это гнусно, и вы должны признать, что я правильно поступил, изгнав из своего государства этого Калиостро, который угадывает так верно и передает такие добрые вести о здоровье людей, умерших и преданных земле.

– Допустим, – возразил Ламетри, – но все это не объясняет, каким образом Порпорина вашего величества увидела своего мертвеца здоровым и невредимым. Ведь если она обладает такой твердостью и таким благоразумием, как утверждает ваше величество, то это противоречит доводам вашего величества. Правда, волшебник ошибся, вытащив из своей кладовой мертвеца вместо живого, который ей понадобился, но это еще больше убеждает в том, что он располагает жизнью и смертью, и тут он сильнее вашего величества, ибо, не в обиду будь сказано вашему величеству, вы повелели убить на войне множество людей, но не смогли воскресить хотя бы одного из них.

– Так, стало быть, мы будем верить в дьявола, дорогой мой подданный? – спросил король, смеясь над уморительными взглядами, которые бросал Ламетри на Квинта Ицилия всякий раз, как торжественно произносил титул короля.

– Почему бы нам и не уверовать в этого беднягу – Сатану? На него столько клеветают, а он так умен! – отпарировал Ламетри.

– В огонь манихея![42 - Манихей – приверженец манихейства, религиозного учения (по имени легендарного перса Мани), в основе которого лежала идея борьбы доброго и злого начал. С III в. н. э. манихейство получило широкое распространение в странах Востока и Запада. Жестоко преследовалось церковью.] – сказал Вольтер, поднося свечу к парику молодого доктора.

– И все же, великолепный Фриц, – продолжал тот, – я представил вам неоспоримый довод: либо прелестная Порпорина безрассудна, легковерна и видела своего мертвеца, либо она философ и не видела ровно ничего. Но ведь все-таки она испугалась? Она сама призналась в этом?

– Она не испугалась, – ответил король, – она огорчилась, как огорчился бы всякий при виде портрета, в точности воспроизводящего любимое существо, которое уже невозможно когда-либо увидеть. Но если говорить начистоту, то я думаю, что она испугалась уже после, задним числом, и что, выйдя из этого испытания, она утратила частицу своего обычного душевного спокойствия. С тех пор на нее находят приступы черной меланхолии, а это всегда является признаком слабости или нервного расстройства. Я убежден, что ум ее потрясен, хоть она и отрицает это. Нельзя безнаказанно играть с обманом. Обморок, который случился с ней нынче вечером, является, по-моему, следствием всей этой истории. И я готов держать пари, что в ее помраченном мозгу затаился смутный страх перед чудодейственным мастерством, которое приписывают Сен-Жермену.[43 - «...перед чудодейственным мастерством, которое приписывают Сен-Жермену». – Из предшествующих слов короля явствует, что речь идет не о Сен-Жермене, а о Калиостро.] Мне сказали, что, вернувшись из театра домой, она не перестает плакать.

– Ну, тут уж позвольте не поверить вам, ваше дражайшее величество, – сказал Ламетри. – Вы навели ее, и, стало быть, она уже не плачет.

– Вам не терпится, Панург, узнать о цели моего визита. И вам тоже, д'Аржанс, хоть вы молчите и делаете вид, будто вас это не интересует. А может быть, и вам, дорогой Вольтер? Вы тоже не говорите ни слова, но, вероятно, думаете о том же.

– Можно ли не интересоваться тем, что считает нужным делать Фридрих Великий? – ответил Вольтер, видя, что король разговорился, и стараясь быть любезным. – Пожалуй, есть люди, которые не имеют права ничего утаивать от других, поскольку каждое их слово – пример и каждый поступок – образец.

– Дорогой друг, смотрите, как бы я не возгордился. Да и кто бы мог не возгордиться, когда его хвалит Вольтер? И тем не менее вы, конечно, подшучивали надо мной во время моего пятнадцатиминутного отсутствия. Однако не можете же вы предположить, что за эти пятнадцать минут я успел дойти до Оперы, где живет Порпорина, прочитать ей длинный мадригал и вернуться сюда пешком, – ибо я шел пешком.

– Ну, Опера находится совсем близко отсюда, – возразил Вольтер, – и вам – вполне довольно четверти часа, чтобы выиграть сражение.

– Ошибаетесь, на это требуется значительно больше времени, – сдержанно ответил король. – Спросите у Квинта Ицилия или вот у маркиза – ему хорошо известно, как целомудренны актрисы, и он скажет вам, что требуется куда больше четверти часа, чтобы их покорить.

– Полноте, государь, это зависит от...

– Да, это зависит от многого, но хочу надеяться, что мадемуазель Кошуа досталась вам не так легко. Так вот, господа, я не видел сейчас мадемуазель Порпорину, а только справился у горничной о здоровье ее госпожи.

– Вы, государь! – вскричал Ламетри.

– Мне захотелось самому отнести ей флакон с лекарством. Я вспомнил, что оно очень помогало мне при спазмах желудка, от которых я несколько раз терял сознание. Что же вы молчите? Я вижу – вы остолбенели от изумления! По-видимому, вам хочется рассыпаться в похвалах моей доброте – отеческой и королевской, но вы не решаетесь, ибо в глубине души считаете меня смешным.

– Право же, государь, – сказал Ламетри, – если вы влюблены, как обыкновенный смертный, то я не вижу тут ничего дурного, и, по-моему, это не дает повода ни для похвал, ни для насмешек.

– Ну, нет, добрый мой Панург, уж если говорить откровенно, я вовсе не влюблен. Я обыкновенный смертный, это верно, но я не имею чести быть королем Франции, и галантные нравы, свойственные такому великому государю, как Людовик Пятнадцатый, были бы совсем не к лицу скромному маркизу Бранденбургскому.[44 - Маркиз Бранденбургский – Фридрих II.] У меня есть дела поважнее, приходится работать не покладая рук, чтобы моя «бедная лавчонка» не захирела, и мне некогда почивать в рощах Киферы.[45 - «...почивать в рощах Киферы». – Остров Кифера (Цитера), некогда один из центров культа Афродиты, в XVII–XVIII вв. служил олицетворением царства любви. Фридрих II имеет в виду галантные празднества, устраивавшиеся в его время французской аристократией (одно из таких празднеств изображено на картине Ватто «Путешествие на остров Киферу»).]

– В таком случае, мне непонятны ваши заботы об этой оперной певичке, – сказал Ламетри. – Быть может, это причуда меломана? А если и это не так, то я наотрез отказываюсь разгадать вашу загадку.

– Так или иначе, знайте, друзья мои, что я не любовник Порпорины и не влюблен в нее. Я просто очень расположен к ней, потому что однажды, даже не зная, кто я, она спасла мне жизнь. Рассказ об этом необыкновенном приключении отнял бы сейчас слишком много времени – я поделюсь им с вами как-нибудь в другой раз, а сегодня уже поздно, и господин Вольтер засыпает. Знайте только, что, если я здесь, а не в аду, куда меня хотел послать некий благочестивый субъект, этим я обязан Порпорине. Теперь вы поймете, почему, узнав о ее серьезной болезни, мне захотелось осведомиться, жива ли она, и отнести ей флакон с лекарством Шталья,[46 - Шталь Георг Эрнст (1660–1734) – немецкий химик и врач.] не желая при этом прослыть в ваших глазах ни Ришелье,[47 - Ришелье Луи-Франсуа-Арман дю Плесси, герцог де (1696–1788) – внучатый племянник кардинала Ришелье. Был известен своими любовными похождениями.] ни Лозеном.[48 - Лозен Антуан-Номпер де Комон (1633–1723) – придворный Людовика XIV, вступивший в тайный брак с двоюродной сестрой короля.] Итак, я прощаюсь с вами, друзья мои. Вот уже восемнадцать часов, как я не снимал сапог, а через шесть мне снова придется их надевать. Молю Бога, чтобы он удостоил вас своего святого покровительства, как пишут в конце письма...

В ту самую минуту, когда на больших башенных часах дворца пробило полночь и молодая светская аббатиса Кведлинбургская только что улеглась в свою розовую шелковую постель, главная камеристка принцессы, ставя на горностаевый коврик ее ночные туфельки, вдруг вздрогнула, и у нее вырвался возглас испуга: кто-то постучал в дверь спальни.

– Ты в своем уме? – спросила прекрасная Амалия, приоткрывая полог кровати. – Что это тебе вздумалось подпрыгивать и охать?

– Разве ваше королевское высочество не слышали стука?

– Стука? Так поди посмотри, кто там.

– Ах, принцесса, да разве хоть один живой человек осмелится стучать в дверь спальни вашего высочества в такой час? Ведь всем известно, что ваше высочество уже легли почивать.

– Ни один живой человек не осмелится, говоришь ты? Значит, это покойник. Так иди открой ему. Вот опять стучат. Иди же, не выводи меня из терпения.

Полумертвая от страха, камеристка неверным шагом побрела к двери и дрожащим голосом спросила: «Кто там?»

– Это я – госпожа фон Клейст, – ответил хорошо знакомый голос. – Если принцесса еще не спит, скажите, что у меня есть для нее важные новости.

– Скорей! Скорей! Впусти ее! – вскричала принцесса. – И оставь нас.

Как только аббатиса и ее любимица остались наедине, последняя села в ногах постели и сказала:

– Ваше королевское высочество были правы. Король до безумия влюблен в Порпорину, но еще не стал ее любовником, и, разумеется, благодаря этому пока что она имеет на него огромное влияние.

– Но каким образом тебе удалось узнать это за какой-нибудь час?

– Только что, когда я раздевалась, собираясь ложиться спать, моя горничная рассказала мне, что ее сестра служит камеристкой у этой самой Порпорины. Тут уж я начала ее выпрашивать, выпытывать подробности, и так, слово за слово, узнала, что она несколько минут назад была у сестры и встретила там с королем, выходящим от Порпорины.

– Ты уверена в этом?

– Моя горничная только что видела короля, как я вижу вас. Он даже заговорил с ней, приняв за сестру, а та в эту минуту была в другой комнате и ухаживала за своей госпожой, больной или мнимой больной – не знаю. Король осведомился о здоровье Порпорины с необыкновенной заботливостью. Он с огорчением топнул ногой, узнав, что она все время плачет. Он не стал просить позволения зайти к ней, боясь ее обеспокоить – таковы его собственные слова. Он передал для нее очень дорогой флакон, а уходя, приказал, чтобы утром больной сообщили, что в одиннадцать часов вечера он заходил проведать ее.

– Вот это так приключение! – воскликнула принцесса. – Я просто не верю своим ушам. А твоя субретка хорошо знает короля в лицо?

– Кто не знает короля в лицо! Ведь он постоянно разъезжает верхом. К тому же за пять минут до его прихода явился паж, чтобы узнать, нет ли у красотки какого-нибудь визитера. А в это время сам король, закутанный с ног до головы, стоял на улице внизу, соблюдая, по своему обыкновению, строжайшее инкогнито.

– Итак, таинственность, заботливость, а главное – уважение: тут любовь, милая фон Клейст, или я ничего в этом не смыслю! И ты прибежала сюда, несмотря на холод, на темноту, чтобы поскорее сообщить мне об этом! Ах, бедняжка моя, как ты добра!

– Скажите-ка еще – несмотря на привидения. Известно ли вам, что вот уже несколько ночей, как во дворце снова царит паника? Мой долговязый егерь – он провожал меня сюда – дрожал как осиновый лист, когда мы проходили с ним по коридорам.

– Кто же это? Опять Белая женщина?[49 - Белая женщина – см. рассказ Амалии в X главе романа.]

– Да, Женщина с метлой.

– На сей раз не мы затеяли эту игру, милая фон Клейст. Наши привидения далеко, дай-то Бог, чтобы мы вновь увидели их.

– Сначала я думала, что это проделки короля, – ему удобно играть роль привидения, раз у него появились причины удалять со своего пути любопытных слуг. Но меня удивило то, что все эти бесовские бдения происходят не по соседству с его апартаментами и не на дороге, ведущей от него к Порпорине. Нет, духи разгуливают вокруг покоев вашего высочества, и теперь, когда я уже не участвую в этом, признаюсь, это немного пугает меня.

– Что за странные вещи ты говоришь, дитя мое! Как можешь ты верить в привидения? Тебе-то ведь хорошо известно, что это такое!

– В том-то и дело! Говорят, они очень сердятся на тех, кто им подражает, и в наказание начинают преследовать их.

– Если так, поздно же они спохватились – ведь они не трогали нас больше года. Полно, забудь об этих пустяках. Мы с тобой отлично знаем, что такое все эти «страждущие души». По-видимому, какой-нибудь паж или младший офицер, который ходит по ночам читать молитвы у ног самой хорошенькой из моих горничных. Поэтому старуха, у чьих ног давно уже никто не молится, была так перепугана, что я еле уговорила ее открыть тебе дверь. Впрочем, зачем мы говорим об этом? Милая фон Клейст, у нас в руках тайна короля, надо воспользоваться ею. Но как, как взяться за дело?

– Надо забрать в руки эту Порпорину, и поскорее, пока благосклонность короля еще не сделала ее недоверчивой и тщеславной.

– Да, да, мы не будем скупиться ни на подарки, ни на обещания, ни на лесть. Ты завтра же пойдешь к ней, попросишь от моего имени... ну, ноты, автографы Порпоры. Должно быть, у нее есть много неизданных вещей итальянских мастеров. А взамен пообещаешь рукописные ноты Себастьяна Баха. У меня есть несколько экземпляров. Начнем с обмена нотами. Потом я попрошу ее прийти и позаниматься со мной. Ну, а уж когда мне удастся ее заполучить, я берусь обворожить ее и покорить.

– Завтра же утром, принцесса, я буду у нее.

– До свидания, фон Клейст. Поцелуй меня. Ты единственный мой друг. Иди к себе, ложись спать, а если встретишь Женщину с метлой, посмотри хорошенько, не выглядывают ли у нее из-под юбок шпоры.

IV

На следующий день, проснувшись в изнеможении после тяжелого сна, Порпорина увидела на постели два предмета, положенные горничной: флакон из горного хрусталя с золотым фермуаром, на котором был выгравирован вензель «Ф», увенчанный королевской короной, и запечатанный сверток. На вопрос хозяйки горничная рассказала, что сам король приходил накануне вечером, чтобы передать этот флакон, и, узнав подробности его визита – столь почтительного, непритязательного и деликатного, Порпорина была растрогана. «Странный человек! – подумала она. – Как примирить такую доброту в частной жизни с жестокостью и деспотизмом в жизни общественной?» Задумавшись, она постепенно забыла о короле, а потом, начав размышлять о себе самой, смутно припомнила вчерашние события и вновь начала плакать.

– Что вы, мадемуазель? – воскликнула горничная, добрая, но болтливая девушка. – Вы опять будете плакать, как вчера вечером, перед тем как уснуть? Просто сердце разрывалось от ваших слез, и король – он ведь стоял за дверью и все слышал – несколько раз покачал головой, жалея вас. А ведь многие могут позавидовать вашей судьбе. Король ухаживает далеко не за всеми. Говорят даже, что он вообще ни за кем не ухаживал. Так что дело тут яснее ясного – он влюбился в вас.

– Влюбился! Как посмела ты произнести такое? – вскричала Порпорина, вся задрожав. – Никогда не повторяй этого неприличного и нелепого слова. Король влюбился в меня – о Господи, что за вздор!

– А что, мадемуазель? Может, и так.

– Сохрани меня Бог! Но этого нет и никогда не будет. А это что за сверток, Катрин?

– Какой-то слуга принес его сегодня чуть свет.

– Чей слуга?

– Наемный. Сначала он не хотел говорить, кто его прислал, но в конце концов сознался, что его наняли люди графа де Сен-Жермена, который прибыл сюда только вчера.

– А почему ты стала расспрашивать его?

– Мне хотелось узнать, откуда он, мадемуазель.

– Это неумно. Оставь меня.

Как только горничная вышла, Порпорина развернула сверток и увидела пергамент, испещренный странными, неразборчивыми буквами. Она много слышала о графе де Сен-Жермене, но не была с ним знакома. Вертя в руках пергамент, рассматривая его со всех сторон и не понимая ни слова, она никак не могла уразуметь, почему этот человек, совершенно для нее чужой, прислал ей подобную загадку, а потому, как и многие другие, решила, что он просто сумасшедший. Однако, продолжая рассматривать посылку, она вдруг обнаружила отдельный листок и прочитала: «Принцесса Амалия Прусская весьма интересуется составлением гороскопов и искусством предсказания. Вручите ей этот пергамент, и вы можете рассчитывать на ее покровительство и расположение». Подписи на листке не было. Почерк был незнакомый, а на свертке не было адреса. Порпорина не понимала, почему граф де Сен-Жермен, желая передать что-то принцессе Амалии, обратился именно к ней, – ведь она даже не была знакома с принцессой. Решив, что слуга, принесший пакет, ошибся, она уже хотела вновь свернуть пергамент и отослать его. Но, взяв в руки лист толстой белой бумаги, в которую была завернута вся посылка, она вдруг заметила, что на другой стороне были напечатаны ноты. В ее памяти всплыл один эпизод. Разыскать в уголке листа условный значок, убедиться, что он написан карандашом ее собственной рукой полтора года назад, удостовериться, что нотный лист взят из тетради, которую она некогда отдала как опознавательный знак, было делом одной секунды, и умиление, которое она

испытала, получив это напоминание об отсутствующем и несчастном друге, заставило ее забыть собственные горести. Оставалось узнать, что делать дальше с загадочным свитком и с какой целью ей поручили передать его принцессе Прусской. Быть может, и в самом деле для того, чтобы снискать ей – ей самой – расположение и покровительство этой дамы? Но Порпорина совершенно не нуждалась ни в том, ни в другом. А быть может, для того, чтобы установить между принцессой и узником какие-то отношения, которые могли бы способствовать его спасению или облегчению его участи? Молодая девушка колебалась. Она вспомнила поговорку: «Если сомневаешься, воздержись». Но потом подумала, что есть поговорки хорошие, а есть плохие, причем одни служат осторожному эгоизму, а другие – отважной преданности. И она встала, говоря себе: «Если сомневаешься, действуй, коль скоро ты рискуешь только собой и надеешься быть полезной твоему другу, твоему ближнему».

С некоторой медлительностью заканчивая туалет – после припадка, случившегося с ней накануне, она чувствовала себя слабой и разбитой, – и закалывая свои прекрасные черные волосы, она думала о том, как бы поскорее и понадежнее переправить посылку принцессе, когда раздался стук и высокий лакей в галунах пришел узнать, одна ли она и может ли принять даму, которая желает с ней переговорить, не называя себя. Молодая певица нередко проклинала зависимость от высокопоставленных особ, в какой жили в ту пору артисты; у нее появилось искушение отослать бесцеремонную даму, передав через горничную, что у нее сейчас находятся ее коллеги певцы, но потом ей пришло в голову, что если такой способ и может отпугнуть некоторых жеманниц, то других женщин, напротив, он заставит быть еще назойливее. Поэтому, покоровшись судьбе, она решила принять гостью, и вскоре перед ней оказалась госпожа фон Клейст.

Эта изысканно одетая великосветская дама явилась с намерением обворожить певицу и заставить ее забыть различие их положения. Но она была смущена, так как, с одной стороны, слышала, что молодая девушка очень горда, а с другой, будучи от природы крайне любопытной, хотела заставить Порпорину разговориться и проникнуть в самые сокровенные ее мысли. Поэтому, несмотря на добросердечие и отзывчивость этой красивой дамы, в ее облике и поведении было сейчас что-то неискреннее, натянутое, и это не ускользнуло от Порпорины. Любопытство так близко примыкает к вероломству, что оно может обезобразить самые прекрасные лица.

Порпорине была хорошо знакома наружность госпожи фон Клейст, и в первую минуту, увидев у себя особу, которая на каждом оперном спектакле появлялась в ложе принцессы Амалии, она хотела было под предлогом интереса к некромантии попросить свою гостью устроить ей свидание с принцессой, которая, по слухам, была большой поклонницей этого искусства. Однако, не смея довериться особе, слывшей несколько экстравагантной и, сверх того, склонной к интригам, она решила выждать и, в свою очередь, принялась наблюдать за ней с той спокойной проницательностью обороняющейся стороны, которая способна отразить все нападки тревожного любопытства.

Наконец лед был сломан, и, когда гостя передала просьбу принцессы прислать ей еще не изданные партитуры, певица, стараясь скрыть радость, какую ей доставило столь удачное стечение обстоятельств, побежала разыскивать их. И вдруг ее осенило.

– Сударыня! – воскликнула она. – Я охотно сложу все мои скромные сокровища к ногам ее высочества и была бы счастлива, если бы она приняла их из моих рук.

– Вот как, милое дитя, – сказала госпожа фон Клейст, – вы желаете лично побеседовать с ее королевским высочеством?

– Да, сударыня, – ответила Порпорина. – Я хотела бы смиренно попросить принцессу об одной милости, и уверена – она не откажет мне. Я слышала, что она сама искусная музыкантша и, по всей вероятности, покровительствует артистам. Я слышала также, что она столь же добра, сколь прекрасна. Поэтому я надеюсь, что, если принцесса соблаговолит выслушать меня, она поможет мне добиться того, чтобы его величество король снова пригласил сюда моего учителя, знаменитого Порпору. Ведь он был приглашен в Берлин с согласия его величества, а на самой границе его прогнали, даже выслали, придравшись к какой-то неправильности в его бумагах. Однако, несмотря на все заверения и обещания его величества, я так и не смогла добиться конца этой нескончаемой истории. Я больше не смею надоедать королю просьбой, которая, как видно, не слишком его интересуется и о которой – я уверена – он совершенно забыл. Вот если бы принцесса соблаговолила сказать несколько слов тем должностным лицам, которым поручено отправить необходимые документы, я обрела бы счастье наконец-то соединиться с моим приемным отцом – единственной моей опорой в этом мире.

– То, что вы сказали, бесконечно меня удивило! – воскликнула госпожа фон Клейст. – Как, прелестная Порпорина, чье влияние на государя я считала неограниченным, вынуждена обращаться к чужой помощи, чтобы добиться такой мелочи? Если так, позвольте мне предположить, что его величество опасается найти в лице вашего приемного отца, как вы его назвали, чересчур бдительного стража или советчика, который может восстановить вас против него.

– Графиня, я тщетно стараюсь понять слова, которые вы изволили произнести, – ответила Порпорина так серьезно, что госпожа фон Клейст пришла в замешательство.

– Ну, стало быть, я ошиблась, считая, что король питает к всемирно известной певице величайшую благосклонность и безграничное восхищение.

– Достойной госпоже фон Клейст не подобает насмехаться над скромной артисткой, которая никому не причиняет зла.

– Насмехаться! Да кто же станет насмехаться над таким ангелом! Вы, мадемуазель, просто не знаете себе цены, и ваше чистосердечие преисполняет меня изумлением и восторгом. Я убеждена, что вы сразу покорите принцессу: она всегда поддается первому впечатлению. Стоит ей увидеть вас вблизи, и она тотчас влюбится в вас, как уже влюблена в ваш талант.

– А мне говорили, графиня, что, напротив, ее королевское высочество всегда отзывается обо мне весьма сурово, что мое незначительное лицо имело несчастье не понравиться ей, и что она совсем не одобряет мою манеру пения.

– Кто мог сказать вам такую ложь?

– Если это ложь, то солгал король, – не без лукавства ответила Порпорина.

– Это была ловушка, попытка испытать вашу доброту и кротость, – возразила госпожа фон Клейст. – Но мне не терпится доказать вам, что я, простая смертная, не имею права лгать, как лжет насмешник король, и я хочу сейчас же увезти вас в своей карете, чтобы вместе с вашими партитурами доставить к принцессе.

– И вы думаете, графиня, что она окажет мне любезный прием?

– Положитесь на меня.

– А если вы все-таки ошибаетесь, графиня, на чью голову падет унижение?

– На мою, только на мою. Я дам вам право рассказывать где угодно, что я похваляюсь расположением принцессы, а она не питает ко мне ни уважения, ни дружбы.

– Я еду с вами, графиня, – сказала Порпорина и позвонила, чтобы ей принесли муфту и мантилью. – Мой туалет очень скромен. Но вы застали меня врасплох.

– Вы очаровательны и в таком наряде, а нашу дорогую принцессу вы увидите в еще более скромном утреннем платье. Идемте!

Порпорина положила в карман таинственный сверток, захватила партитуры и решительно села в карету рядом с госпожой фон Клейст, мысленно повторяя: «Ради человека, рискующего из-за меня жизнью, я могу пойти на унижительное и бесплодное ожидание в передней какой-то принцессы».

Порпорину провели в туалетную комнату ее высочества, и она ждала там минут пять, пока аббатиса и ее наперсница беседовали в соседней комнате.

– Принцесса, я привезла ее, она здесь.

– Уже? О искусная посланница! Как надо принять ее? Какова она?

– Сдержанна и осторожна, а может быть, простовата. Очень скрытна или просто глупа.

– Ну, в этом мы сумеем разобраться! – вскричала принцесса, и в глазах ее загорелся огонек, говорящий о привычке изучать и подозревать. – Пусть войдет!

Между тем Порпорина, ожидавшая в туалетной комнате, с изумлением рассматривала собрание самых удивительных предметов, когда-либо украшавших святилище красивой женщины и к тому же принцессы: глобусы,

компасы, астролябии, астрологические карты, сосуды с неизвестной жидкостью, черепа – словом, весь набор, потребный для колдовства. «Мой друг не ошибся, – подумала Порпорина, – людям хорошо известно, чем занимается сестра короля. И, кажется, она не делает из этих занятий тайны, если эти странные вещи лежат на самом виду. Итак, смелее».

Аббатисе Кведлинбургской было в ту пору лет двадцать восемь – тридцать. Когда-то она была божественно хороша. Она была хороша еще и сейчас – вечером, при свете ламп и на расстоянии, но, увидев ее при дневном свете и так близко, Порпорина удивилась ее поблекшему, угреватому лицу. Голубые глаза, бывшие прежде прекраснейшими в мире, теперь были красны, казались заплаканными, и в их прозрачной глубине притаился болезненный блеск, не суливший ничего хорошего. Некогда она была любимицей своей семьи, всего двора и в течение долгого времени считалась самой приветливой, жизнерадостной, ласковой и привлекательной королевской дочкой, какие когда-либо встречались на страницах старинных романов из жизни аристократов. Но вот уже несколько лет, как характер ее изменился и вместе с тем потускнела ее красота. У нее бывали теперь припадки дурного расположения духа, даже злобы, и в эти минуты она как бы повторяла самые скверные черты характера Фридриха. Хотя она отнюдь не стремилась подражать брату и даже втайне его порицала, ее непреодолимо влекло к тем самым порокам, которые она в нем осуждала, и постепенно Амалия превращалась в надменную, не терпящую возражений властительницу, в женщину образованную, но ограниченную и высокомерную, с умом скептическим и желчным. И, однако, сквозь эти ужасные недостатки, которые, к несчастью, усиливались с каждым днем, все еще пробивались прямотушие, чувство справедливости, сильный дух, пылкое сердце. Что же происходило в душе несчастной принцессы? Страшное горе терзало ее, а ей приходилось прятать его в своей груди и стоически выносить его, притворяясь веселой перед лицом любопытного, злорадного или равнодушного света. Вот почему, вынужденная румянить щеки и принуждать сердце, она сумела выработать в себе два совершенно различных существа: одно из них она скрывала почти от всех, а другое выставляла напоказ с ненавистью и отчаянием. Все заметили, что ее беседа стала более живой и блестящей, но эта беспокойная и натянутая веселость производила тягостное впечатление, вызывала какое-то необъяснимое леденящее чувство, граничившее со страхом. То чувствительная до ребячества, то холодная до жестокости, она удивляла окружающих и даже самое себя. Потoki слез гасили по временам пламя ее гнева, но внезапные пароксизмы свирепой иронии, нечестивого высокомерия вырывали ее из состояния этой благотворной слабости, которую ей не дозволено было поддерживать в себе и обнаруживать при других.

Первое, что бросилось в глаза Порпорине, когда она увидела принцессу, была эта своеобразная двойственность ее натуры. У принцессы были два облика, два лица – одно ласковое, другое угрожающее, два голоса – один нежный и гармоничный, как бы дарованный небом для дивного пения, другой хриплый, жесткий, словно исходящий из груди, сжигаемой дьявольским огнем. С изумлением глядя на это странное существо, наша героиня, переходя от страха к сочувствию, спрашивала себя, кто из двоих сейчас подчинит и покорит ее – добрый гений или злой.

Принцесса тоже всматривалась в Порпорину, и та показалась ей гораздо более опасной, чем она предполагала. Она надеялась, что без театрального костюма, без грима, который, что бы там ни говорили, сильно уродует женщин, Консуэло окажется такой, какой для ее успокоения певицу описала госпожа фон Клейст: скорее дурнушкой, нежели миловидной. Но этот смуглый и бледный цвет кожи, гладкой и чистой, черные глаза, выразившие твердость и нежность, правдивый рот, гибкий стан, естественные, непринужденные движения – словом, весь облик этого честного, доброго создания, которое излучало спокойствие и какую-то внутреннюю силу – следствие прямоты и истинного целомудрия, внушил беспокойной Амалии невольное почтение и даже чувство стыда, подсказавшее ей, что перед этим благородством все ее ухищрения окажутся бессильны.

Молодая девушка заметила усилия принцессы скрыть свое смущение и, разумеется, не могла не удивиться, что столь высокопоставленная особа робеет в ее присутствии. Чтобы оживить разговор, то и дело угасавший, она раскрыла ту из принесенных партитур, в которую спрятала кабалистическое письмо, и постаралась подложить ее таким образом, чтобы начертанные на листке крупные буквы бросились принцессе в глаза. Как только ей это удалось, она протянула руку, словно удивляясь, как попал сюда этот листок, и хотела его забрать, но аббатиса поспешно схватила его с возгласом:

– Что это? Ради Бога, как попала к вам эта бумага?

– Ваше высочество, – с многозначительным видом ответила Порпорина, – признаюсь, что я хотела показать вам эту астрологическую таблицу, в случае если бы вы пожелали расспросить меня о некоем обстоятельстве, которое мне неизвестно.

Принцесса устремила на певицу жгучий взгляд, потом опустила глаза на магические письма, подбежала к оконной амбразуре, с минуту вглядывалась в загадочный листок и вдруг, громко вскрикнув, как подкошенная упала на руки бросившейся к ней госпоже фон Клейст.

– Выйдите отсюда, мадемуазель, – поспешно сказала Порпорине приближенная принцессы, – пройдите в соседнюю комнату. И никому ничего не говорите, никого не зовите, никого – слышите?

– Нет, нет, пусть она останется... – слабым голосом проговорила принцесса. – Пусть подойдет поближе... сюда, ко мне. Ах, дитя мое, – воскликнула она, когда молодая девушка подошла к ней, – какую услугу вы мне оказали!

И, обняв Порпорину своими худыми белыми руками, принцесса с судорожной силой прижала ее к сердцу и осыпала градом отрывистых, похожих на укусы поцелуев, от которых у бедняжки заболело лицо и сжалось сердце.

«Решительно, эта страна доводит людей до безумия, – подумала она. – Мне и самой уже несколько раз казалось, что я схожу с ума, но, оказывается, самые высокопоставленные особы еще более безумны, чем я. Безумие носится здесь в воздухе».

Принцесса наконец оторвала руки от ее шеи и тут же обняла госпожу фон Клейст, обливаясь слезами, всхлипывая и повторяя еще более хриплым голосом:

– Спасен! Спасен! Мои дорогие, мои добрые подруги, Тренк[50 - Тренк Фридрих фон (1726–1794) – прусский авантюрист. Был офицером-ординарцем Фридриха II. В 1745 г. по обвинению в измене был заключен в крепость Глац, затем бежал, поступил на военную службу в Россию. В 1754 г. появился в Пруссии и был арестован; после неудачной попытки бежать был закован в кандалы и заключен в тюрьму в Магдебурге, где провел девять лет. Получив свободу, отправился в Париж и в Лондон, где выполнял тайные поручения венского двора. Во время французской революции вновь поехал в Париж. Там он был обвинен в шпионаже и гильотинирован.] бежал из крепости Глац. Он в пути, он все еще бежит, бежит!..

И несчастная принцесса судорожно захохотала, перемежая смех рыданиями. На нее больно было смотреть.

– Ах, принцесса, ради всего святого, обуздайте свою радость! – вскричала госпожа фон Клейст. – Будьте осторожны – вас могут услышать!

И, подобрав с полу мнимую кабалистическую грамоту, оказавшуюся зашифрованным письмом барона Тренка, она вместе со своей госпожой снова начала читать его, причем чтение тысячу раз прерывалось возгласами неистойой, исступленной радости принцессы.

V

«Подкупив нижние чины гарнизона крепости благодаря средствам, доставленным моей несравненной подругой, я сговорился с узником, жаждущим свободы не менее меня, свалил ударом кулака одного стражника, пинком ноги другого и хорошим ударом шпаги третьего, спрыгнул с высокого вала, предварительно столкнув вниз приятеля, – он не сразу решился на прыжок, а при падении вывихнул ногу, – взвалил его на спину и, пробежав четверть часа с этой ношей, перебрался через Нейсе по пояс в воде в густом тумане, а затем продолжал бежать и на другом берегу, и прошагал так всю ночь – ужасную ночь!.. Сбившись с пути, я долго кружил по снегу вокруг какой-то незнакомой горы и вдруг услышал, как бьет четыре часа утра на башне Глаца – то есть даром потерял время и силы, чтоб на рассвете снова оказаться у городских стен!.. Собравшись с духом, я зашел в дом к неизвестному крестьянину и, приставив к его груди пистолет, увел двух лошадей, а потом умчался во весь опор куда глаза глядят; с помощью тысячи хитростей, опасностей, мучений я завоевал свободу и наконец в страшный мороз оказался в чужой стране, без денег, без одежды, почти без хлеба. Но чувствовать себя свободным после того, как тебя приговорили к ужасному пожизненному заключению; думать о том, как обрадуется обожаемая подруга, узнав эту новость; строить множество дерзких и восхитительных планов, как увидеться с ней, – это значит быть счастливее Фридриха Прусского, значит быть счастливейшим из смертных, значит быть избранником судьбы».

Вот что писал молодой Фридрих фон Тренк принцессе Амалии, и легкость, с которой госпожа фон Клейст читала письмо, показала удивленной и растроганной Порпорине, что такого рода переписка с помощью нотных тетрадей была для них привычной. Письмо оканчивалось постскриптумом:

«Особа, которая вручит вам это письмо, столь же надежна, сколь ненадежны были другие. Можете доверять ей безгранично и передавать все послания ко мне. Граф де Сен-Жермен поможет ей переправлять их. Однако необходимо, чтобы вышеназванный граф, которому я доверяю лишь до известного предела, никогда и ничего не слышал о вас и чтобы он считал меня влюбленным в синьору Порпорину, хотя это неправда и я никогда не питал к ней иных чувств, кроме спокойной, чистой дружбы. Пусть же ни одно облачко не затуманит прелестного чела той, кого я боготворю. Я дышу для нее одной и скорее согласился бы умереть, нежели изменить ей».

В то время как госпожа фон Клейст вслух расшифровывала этот постскрипtum, делая ударение на каждом слове, принцесса Амалия внимательно изучала лицо Порпорины, пытаясь обнаружить на нем выражение боли, унижения или досады. Ангельская безмятежность этого благородного создания совершенно ее успокоила, и она снова начала осыпать девушку ласками, восклицая:

– А я-то смела подозревать тебя, бедная крошка! Ты не знаешь, как я ревновала, как ненавидела тебя, как проклинала! Мне хотелось, чтобы ты оказалась дурнушкой и плохой актрисой именно потому, что я боялась увидеть тебя чересчур красивой и чересчур доброй. Ведь мой брат, опасаясь, что я подружусь с тобой, только делал вид, будто хочет пригласить тебя на мои концерты, а сам наговорил мне, будто бы в Вене ты была возлюбленной, кумиром Тренка. Он прекрасно знал, что таким способом навсегда отдалит меня от тебя. И я верила ему, меж тем как ты подвергаешь себя величайшим опасностям, чтобы только принести мне эту счастливую весть! Так ты не любишь короля? Ах, как ты права, ведь нет человека более развращенного, более жестокого!

– Принцесса, принцесса! – вмешалась госпожа фон Клейст, испуганная чрезмерной откровенностью и лихорадочным воодушевлением аббатисы Кведлинбургской. – Какую опасность могли бы вы навлечь на себя в эту минуту, не будь мадемуазель Порпорина ангелом мужества и преданности!

– Да, да... я в таком состоянии... Кажется, я совсем потеряла голову. Хорошенько закрой двери, фон Клейст, но прежде взгляни, не мог ли кто-нибудь подслушать меня в передней. Что касается этой девушки, – добавила принцесса, указывая на Порпорину, – посмотри на ее лицо и скажи, возможно ли сомневаться в ней. Нет, нет! Я не так неосторожна, как кажется, дорогая Порпорина. Не думайте, что я открыла вам сердце лишь в минуту смятения и что буду раскаиваться в этом,

когда приду в себя. У меня безошибочный инстинкт, дитя мое. Глаз еще никогда не обманывал меня. Это у нас в роду, но мой брат король, который всегда похваляется своим чутьем, не может со мной сравниться в этом отношении. Нет, вы не предадите меня, я вижу, я знаю это!.. Вы не захотите обмануть женщину, страдающую несчастной любовью, женщину, которая испытывает такие муки, каких никто не может даже вообразить себе.

– О нет, принцесса, никогда! – сказала Порпорина, опускаясь перед ней на колени и словно призывая Бога в свидетели своей клятвы. – Ни вас, ни Фридриха фон Тренка, спасшего мне жизнь, да и вообще никого в мире!

– Он спас тебе жизнь? О, я уверена, что не тебе одной! Он такой храбрый, такой добрый, такой красивый! Он очень хорош собой, правда? Но, должно быть, ты не рассмотрела его как следует, не то непременно влюбилась бы, а ты ведь не влюблена в Тренка, нет? Ты еще расскажешь мне, как вы познакомились и каким образом он спас тебе жизнь, но только не сейчас. Сейчас я не смогу слушать тебя, я должна говорить сама, мое сердце переполнено до краев – уже так давно оно сохнет у меня в груди! Я хочу говорить, говорить без конца, оставь меня в покое, фон Клейст. Моя радость должна излиться, иначе меня разорвет на куски. Но только закрой двери, встань на страже, оберегай меня. Пожалейте меня, мои дорогие подруги, ведь я так счастлива!

И принцесса залилась слезами.

– Так знай же, – продолжала она через несколько мгновений прерывающимся от рыданий голосом, но все с тем же возбуждением, – что он понравился мне с первого дня нашего знакомства. Ему было тогда восемнадцать лет, он был божественно красив и так хорошо образован, чистосердечен, храбр! Меня хотели выдать замуж за шведского короля. Не тут-то было! А моя сестра Ульрика^[51] – Ульрика – Луиза Ульрика (1720–1782), супруга шведского короля Адольфа Фридриха.] кусает ногти с досады, что вот я стану королевой, а она остается в девицах. «Милая сестра, – говорю я ей, – есть способ уладить это дело ко всеобщему удовольствию. Правители Швеции желают иметь королеву-католичку, а я не желаю отречься от своей веры. Им нужна покладистая, кроткая королева, чуждая политики, а если королевой стану я, то захочу властвовать. Стоит мне высказать все это посланникам, и завтра же они напишут своему государю, что для Швеции подоходишь ты, а не я». Сказано – сделано, и теперь моя сестра – шведская королева. С этого дня я начала притворяться и притворяюсь ежедневно до сих пор. Ах, Порпорина, вы думаете,

что вы актриса? Нет, вы не знаете, что значит всю свою жизнь играть роль, играть ее утром, днем и нередко даже ночью. Ибо нет человека, который бы не подсматривал за нами, не старался бы угадать наши мысли и предать нас. Мне пришлось делать вид, будто я огорчена и раздосадована, когда сестра благодаря моим же стараниям отняла у меня шведский трон. Мне пришлось делать вид, будто я ненавижу Тренка, будто нахожу его смешным, чуть ли не издеваюсь над ним и Бог знает что еще!.. И это в то время, когда я его боготворила, была его любовницей, задышалась от упоения и счастья так же, как задыхаюсь сейчас!.. Ах, нет, увы! – больше, чем сейчас!.. Но Тренк не обладал моей силой духа и моей осторожностью. Он не был рожден принцем и не умел притворяться и лгать, как умела я. Король узнал обо всем и, по обычаю королей, солгал, притворившись, будто ничего не замечает. Однако он стал преследовать Тренка, и этот красавец паж, его любимец, сделался предметом его ненависти и злобы. Он старался всячески его унижить, он не знал жалости по отношению к нему. Семь дней из восьми Тренк проводил под арестом. Но на восьмой он снова был в моих объятиях, ибо он ничего не боится, ни от чего не падает духом. Ну, можно ли не преклоняться перед таким мужеством? Так вот, король придумал послать его с поручением за границу. А когда Тренк выполнил его столь же искусно, сколь и быстро, брат имел низость обвинить его в том, что якобы он передал планы наших крепостей и выдал военные тайны своему двоюродному брату Тренку-пандуру,[52 - Тренк-пандур – Франц фон Тренк (1711-1749), австрийский авантюрист, двоюродный брат Фридриха фон Тренка. Командовал пандурами – нерегулярными пехотными отрядами, формировавшимися в подвластных Габсбургам Венгрии и Хорватии. В 1746 г. был обвинен в разбое и мародерстве и приговорен к пожизненному заключению в крепости Шпильберг в Брюнне (Брно).] состоящему на службе у Марии-Терезии. То был способ не только разлучить нас навеки, осудив его на пожизненное заключение, но и обесчестить его, заставить погибнуть от горя, отчаяния и гнева в ужасной темнице. Теперь скажи, могу ли я почитать и благословлять моего брата. Говорят, он великий человек. А я говорю вам, он чудовище! О девочка, остерегайся полюбить его, он ломает тебя, как тростинку! Но надобно притворяться, все время притворяться! В той атмосфере, где мы живем, даже дышать приходится украдкой. И я притворюсь, что боготворю своего брата. Я его любимая сестра, все знают это или думают, что знают... Он осыпает меня знаками внимания. Он собственноручно собирает для меня вишни в садах Сан-Суси и отказывает в них даже самому себе, хоть любит их больше всего на свете, но перед тем как передать корзинку пажу, которому велено принести ее мне, он пересчитывает вишни, чтобы паж не съел хоть одну по дороге. Какая нежная заботливость! Какое простодушие, достойное Генриха Четвертого и короля Рене![53 - «...простодушие, достойное Генриха Четвертого и короля

Рене!» – Генрих IV (1553–1610) – французский король, вступивший на престол в 1594 г. Согласно легенде, Генрих IV обещал править страной так, «чтобы у каждого крестьянина по воскресеньям была в супе курица». Рене Анжуйский (1409–1480), прозванный Добрым (Rene le Bon), был номинальным королем Неаполя и Сицилии и правителем Прованса.] И в то же время он держит моего возлюбленного в подземелье и старается обесчестить его в моих глазах, чтобы наказать за то, что я любила его! До чего же он великодушен, мой добрый брат! И как мы любим друг друга!..

Говоря это, принцесса побледнела, голос ее зазвучал слабее и угас, глаза остановились и, казалось, готовы были выскочить из орбит; застыв на месте, она умолкла и совсем побелела. Она была без чувств. Испуганная Порпорина помогла госпоже фон Клейст расшнуровать ее корсаж и перенести на постель; здесь она немного пришла в себя и снова начала шептать какие-то невнятные слова.

– Благодарение небу, припадок сейчас пройдет, – сказала госпожа фон Клейст певиче. – Когда она полностью придет в себя, я позову горничных. А вам, милое дитя, надо непременно перейти в музыкальный салон и спеть что-нибудь, чтобы вас слышали стены, а вернее, слуги, сидящие в передней. Ведь король неминуемо узнает, что вы приходили сюда, и он должен думать, что вы занимались с принцессой только музыкой. Принцесса скажется больной, и это поможет ей скрыть свою радость. Никто не должен заметить, что она знает о побеге Тренка. И вам тоже нельзя этого знать. Сейчас, несомненно, король уже осведомлен обо всем. Он будет не в духе и станет подозревать всех и вся. Берегитесь! Если он узнает, что это вы передали письмо принцессе, мы погибнем обе – и я и вы. В этой стране женщины так же легко попадают в крепость, как и мужчины. Их умышленно забывают там – совсем так же, как мужчин. И они умирают там, тоже как мужчины. Я предупредила вас, прощайте. Спойте что-нибудь, а потом уходите без шума, но и без особой таинственности. Мы не увидимся с вами целую неделю – этого требует осторожность. Можете рассчитывать на признательность принцессы. Она очень щедра и умеет вознаграждать преданность...

– Ах, сударыня, – с грустью возразила Порпорина. – Вы, стало быть, думаете, что на меня могут повлиять угрозы и обещания? Мне жаль вас, если у вас такие мысли.

Разбитая от усталости и волнений, которые она только что пережила вместе с принцессой, и еще не оправившись от собственного вчерашнего потрясения, Порпорина все же села за клавесин и начала петь, как вдруг дверь за ее спиной бесшумно отворилась, и в зеркале, возле которого стоял инструмент, она внезапно увидела рядом со своим отражением фигуру короля. Вздвогнув, она приподнялась, но король опустил свои жесткие пальцы на ее плечо, как бы приказывая ей снова сесть и продолжать петь. Очень неохотно, со стесненным сердцем, она заставила себя повиноваться. Никогда еще она не чувствовала себя менее расположенной петь, никогда присутствие Фридриха не казалось ей более замораживающим, более несовместимым с музыкальным вдохновением.

– Исполнение было превосходно, – сказал король закончившей свой отрывок Порпорине, которая во время пения с ужасом наблюдала, как король на цыпочках подходил к полуотворенной двери спальни своей сестры, стараясь услышать, что там происходит. – К сожалению, – добавил он, – я заметил, что ваш прекрасный голос звучал сегодня не так хорошо, как обычно. Вам бы следовало отдыхать, а не приходить сюда, повинувшись непонятному капризу принцессы Амалии, которая послала за вами, а сама даже не слушает вас.

– Ее королевское высочество внезапно почувствовала себя дурно, – ответила молодая девушка, напуганная суровым и мрачным тоном короля, – и мне было приказано продолжать петь, чтобы развлечь ее.

– Уверяю вас, что это напрасный труд и она вовсе не слушает вас, – сухо возразил король. – Она сидит там и, как ни в чем не бывало, шепчется с госпожой фон Клейст. А если так, мы тоже можем пошептаться здесь с вами, не обращая на них внимания. Ее болезнь представляется мне не слишком серьезной. По-видимому, особы вашего пола необыкновенно быстро переходят от одной крайности к другой. Вчера вечером вы чуть ли не умирали. Кто бы мог вообразить, что сегодня утром вы придете сюда ухаживать за моей сестрой и развлекать ее? Не будете ли вы любезны объяснить мне, каким чудом вы здесь оказались?

Ошеломленная вопросом, Порпорина мысленно молила небо вразумить ее.

– Государь, – сказала она, силясь казаться спокойной, – я и сама не совсем понимаю, как это произошло. Сегодня утром мне сообщили о желании принцессы иметь вот эту партитуру. Я подумала, что должна принести ноты сама, предполагая оставить их в передней и тотчас уйти. Здесь меня увидела

госпожа фон Клейст. Она доложила обо мне принцессе Амалии, и, как видно, ее высочеству захотелось посмотреть на меня вблизи. Мне было велено войти в комнату. Принцесса удостоила меня беседой и стала расспрашивать о характере различных музыкальных отрывков. Потом ей стало нехорошо, и она решила лечь, а мне приказала выйти и спеть вот эту арию. Теперь, я думаю, меня соблаговолит отпустить на репетицию.

– Еще рано, – сказал король. – Не знаю, почему это вам так не терпится уйти, когда я желаю побеседовать с вами.

– Потому что в присутствии вашего величества я всегда боюсь оказаться лишней.

– Моя милая, у вас нет здравого смысла.

– Тем более, государь!

– Вы останетесь здесь, – сказал король, снова усадив ее за фортепьяно и встав напротив.

А потом, устремив на нее не то отеческий, не то инквизиторский взгляд, спросил:

– Правда ли все, что вы мне тут наговорили?

Порпорина превозмогла отвращение, которое ей внушала ложь. Она уже не раз говорила себе, что будет искренна с этим страшным человеком во всем, что касается ее самой, но сумеет солгать, если ложь понадобится для спасения его жертв. И вот критическая минута, когда благосклонность властелина могла превратиться в ярость, неожиданно настала. Она охотно пожертвовала бы этой благосклонностью, только бы не унижаться до притворства, но от ее находчивости и присутствия духа зависели сейчас и участь Тренка, и участь принцессы. Призвав на помощь все свое искусство актрисы, она с лукавой улыбкой выдержала орлиный взгляд короля. Впрочем, в эту минуту его взгляд скорее напоминал ястребиный.

– Ну, – сказал король, – почему же вы не отвечаете?

– А зачем его величеству королю угодно пугать меня, делая вид, что он сомневается в моих словах?

– У вас отнюдь не испуганный вид. Напротив. Сегодня вы смотрите на меня чрезвычайно смело.

– Государь, боишься только того, кого ненавидишь. Зачем же вам желать, чтобы я боялась вас?

Фридриху пришлось призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не уступить волнению, вызванному этим ответом – самым кокетливым из всех, каких ему до сих пор удавалось добиться от Порпорины. И, по своему обыкновению, он сейчас же переменял разговор, что само по себе является большим искусством, куда более трудным, чем принято думать.

– Почему вчера вечером вы упали в обморок, будучи на сцене?

– Государь, это никак не может интересовать ваше величество и касается только меня одной.

– Какое это блюдо вам подали сегодня на завтрак, что у вас так развязался язык?

– Я вдохнула запах некоего флакона и уверовала в доброту и справедливость того, кто принес его мне.

– Ах вот как! Вы приняли это за декларацию? – сказал Фридрих холодно и с каким-то циничным презрением.

– Боже упаси, нет! – с непритворным ужасом ответила Порпорина.

– Почему вы сказали: «Боже упаси»?

– Потому что знаю, что декларации вашего величества носят чисто военный характер, даже когда они относятся к дамам.

- Вы не русская царица и не Мария-Терезия, какую же войну мог бы я объявить вам?[54 - «Вы не русская царица и не Мария-Терезия, какую же войну мог бы я объявить вам?» - Русская царица Елизавета Петровна и австрийская императрица Мария-Терезия являлись противниками Фридриха II во время войны за австрийское наследство (1740-1748) и Семилетней войны (1756-1763).]

- Войну льва с мушкой.[55 - «Войну льва с мушкой». - Имеется в виду басня Лафонтена «Лев и мушка».]

- А какая муха укусила сегодня вас, если вы осмеливаетесь ссылаться на подобную басню? Ведь мушка погубила льва, преследуя его.

- Ну, это был, наверное, какой-нибудь жалкий лев, рассерженный, а потому слабый. Могла ли я вспомнить об этом нравоучительном конце?

- А мушка была жестокой и больно кусалась. Пожалуй, это нравоучение скорее подходит вам.

- Вы так полагаете, ваше величество?

- Да.

- Государь, вы говорите неправду.

Фридрих схватил молодую девушку за руку и судорожно, до боли, сжал ее. В этом странном порыве гнев сочетался с любовью. Порпорина не изменилась в лице, и, глядя на ее покрасневшую, опухшую руку, король добавил:

- У вас есть мужество!

- Не такое уж большое, государь, но я не притворяюсь, будто у меня его нет, как это делают все те, кто вас окружает.

- Что вы хотите этим сказать?

- Что человек часто притворяется мертвым, чтобы не быть убитым. Будь я на вашем месте, мне бы не хотелось слыть такой грозной.

- В кого вы влюблены? – спросил король, снова меняя разговор.

- Ни в кого, государь.

- Если так, отчего у вас бывают нервные припадки?

- Это не имеет значения для судеб Пруссии, а, следовательно, королю незачем это знать.

- Так вы думаете, что с вами говорит король?

- Я никогда не смела бы забыть об этом.

- И все-таки должны забыть. Король никогда не станет разговаривать с вами – ведь жизнь вы спасли не королю.

- Но я не вижу здесь барона фон Крейца.[56 - Барон фон Крейц. – Под этим именем Фридрих II появляется в первой части диалогии (гл. С – СII).]

- Это упрек? Если так, вы несправедливы. Не король приходил вчера справляться о вашем здоровье. У вас был капитан Крейц.

- Это различие чересчур тонко для меня, господин капитан.

- Так постарайтесь научиться замечать его. Посмотрите – когда я надену шляпу вот так, чуть-чуть на левый бок, я буду капитаном, а когда вот эдак, на правый, буду королем. А вы, в соответствии с этим, будете то Консуэло, то мадемуазель Порпориной.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Роман «Графиня Рудольштадт» является непосредственным продолжением «Консуэло». Писательница рассматривала эти два произведения как единое целое. Роман вначале печатался в журнале «Ревю эндепандант» с 25 июня 1843 по 10 февраля 1844 года. Рукопись романа не сохранилась.

В 1844 году роман вышел отдельной книгой в серии «Собрание лучших современных романов», затем был переиздан в 1854 году. В собрании сочинений Жорж Санд (1875) «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» были напечатаны с посвящением певице Полине Виардо.

2

Итальянская опера в Берлине – ансамбль итальянских певцов, выступавших с 1742 года в новом королевском оперном театре под руководством придворного капельмейстера Карла-Генриха Грана.

3

Фридрих Великий – Фридрих II (1712–1786), прусский король с 1740 г.

4

Вильгельм Толстый – Фридрих Вильгельм I (1688–1740), вступивший на прусский престол в 1713 г.

5

«...вскоре после того, как он водворился в Берлине...» – Вольтер прибыл в Берлин в 1750 г. по приглашению Фридриха II. В 1753 г., порвав с королем, уехал в Швейцарию.

6

«Северный Соломон» – так называл Вольтер Фридриха II в письме к своей племяннице Луизе Дени 18 декабря 1752 г.

7

Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон, 1721–1764) – маркиза, фаворитка Людовика XV, имевшая неограниченное влияние на короля и фактически правившая страной.

8

«Фаэтон» – опера К.-Г. Грауна, впервые поставленная в Берлине в 1750 г.

9

Д'Аржанс Жан-Батист де Бойе, маркиз (1704–1771) – французский литератор и философ, друг Фридриха II. Состоял директором отделения философии берлинской Академии наук.

10

Ламетри Жюльен Офре (1709–1751) – французский философ-материалист, врач. Преследования церковников и иезуитов вынудили его переселиться в Голландию, а оттуда в Германию. Был чтецом Фридриха II.

11

«Давали “Тита”...» – Имеется в виду опера «Милосердие Тита» (1737).

12

Метастазιο Пьетро (наст. фамилия – Трапасси, 1698–1782) – выдающийся итальянский поэт и драматург. Произведения Метастазιο пользовались у современников необычайным успехом, на его тексты писали оперы многие композиторы, в том числе Гендель, Глюк, Гайдн и Моцарт.

13

Гассе Иоганн Адольф (1699–1783) – один из крупнейших оперных композиторов XVIII в. Родился в Гамбурге, молодость провел в Италии, в течение многих лет состоял капельмейстером оперного театра в Дрездене.

14

Порпорино – прозвище певца-кастрата Антонио Уберти (1696–1783), ученика Порпоры. Выступал в Берлине в итальянской опере, был придворным певцом Фридриха II.

15

Цыганочка (итал.).

16

Порпора Никколо (1686–1766) – итальянский композитор и вокальный педагог. Его жизнь в Венеции и Вене отображена в «Консуэло».

17

Кончолини (правильно – Кончалини) – Джованни Карло (1745–1812) – певец-кастрат. Пел в оперных театрах Мюнхена и Берлина.

18

Пельниц Карл Людвиг фон (1692–1775) – немецкий авантюрист, объездивший многие страны Европы. При дворе Фридриха II занимал должность обер-

камергера.

19

Кошуа Мария – танцовщица, выступавшая с 1742 по 1750 г. в Берлинском оперном театре.

20

Амалия Прусская (1723–1787) – младшая сестра Фридриха II. Увлекалась магией и оккультными науками.

21

Барберини (правильно – Барберина) – имя итальянской падчерицы Кампанини (1721–1799). С 1743 г. выступала в итальянской труппе Берлинского оперного театра, в 1749 г. тайно обвенчалась со старшим сыном канцлера Фридриха II Самуэля фон Коччеи.

22

Жордан Шарль-Этьен (1700–1745) – литератор, близкий друг Фридриха II. Ведал благотворительными и учебными заведениями, был вице-президентом берлинской Академии наук.

23

Шазоль – по-видимому, Исаак-Франсуа-Эгмонт Шазо (1716–1797) – друг Фридриха II, французский аристократ, бежавший в Пруссию вследствие преследований, вызванных дуэлью.

24

Сан-Суси (фр. *sans-souci* – «беззаботность») – дворец Фридриха в Потсдаме, построенный в 1745–1747 гг.

25

«...красивая аббатиса...» – Известно, что Фридрих раздавал аббатства, каноникулы и епископства своим фаворитам, офицерам и родственникам-протестантам. Принцесса Амалия, упорно отказывавшаяся от замужества, получила от него в дар аббатство Кведлинбургское, дававшее сто тысяч ливров дохода, и носила звание аббатисы, подобно католическим настоятельницам. (Прим. автора.)

26

Гофманские капли – капли, составленные по рецепту знаменитого немецкого врача Фридриха Гофмана (1660–1742).

27

Альгаротти Франческо (1712–1764) – итальянский литератор и ученый, знаток изящных искусств, по поручению польского короля Августа III занимался пополнением Дрезденской галереи. Был близок к Фридриху II, который возвел его в графское достоинство и назначил камергером.

28

Квинт Ицилий – любимец Фридриха II Карл Готлиб Гишар (1712–1775) – автор трудов по истории военного дела в древнем мире. В беседе с Гишаром Фридрих II однажды заметил, что имя Квинт Ицилий носил один из римских центурионов времен Цезаря, Гишар с ним не согласился, и тогда король стал называть этим именем его самого.

29

Ремисберг (правильно – Рейнсберг) – поместье, в котором кронпринц Фридрих жил в 1736–1740 гг., занимаясь в обществе близких друзей изучением философии и древних авторов.

30

Марк Аврелий (121–180) – римский император, философ-стоик. Пользовался репутацией гуманного и доброго правителя.

31

Табачная коллегия – так назывались вечера, которые Фридрих Вильгельм I регулярно устраивал для придворных и высших офицеров... Участники их курили глиняные трубки, пили пиво и упражнялись в остроумии.

32

Сен-Жермен (? – 1784) – известный авантюрист XVIII в. Сумел приобрести расположение многих европейских монархов, выдавая себя за алхимика и мага. Уверял, что прожил две тысячи лет и помнит Иисуса Христа.

33

Панург – персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532), веселый озорник, презирающий условности и предрассудки.

34

Пантагрюэль и его отец Гаргантюа – образы, в которых Рабле воплощает свой идеал разумного и просвещенного монарха.

35

Философский камень – фантастическое вещество, которое, по представлениям средневековых алхимиков, может превращать все металлы в золото, излечивать болезни и возвращать молодость.

36

Калиостро Алессандро (1743–1795) – знаменитый авантюрист, объездивший все страны Европы. Публицистическая и мемуарная литература XVIII в. полна сообщений о приключениях и «чудесах» Калиостро, выдававшего себя за медика, алхимика, заклинателя духов. В 1789 г. в Риме он был арестован; умер в крепости.

37

«Ты сам ее назвал!» – слегка измененная цитата из «Федры» Расина (акт I, сц. 3).

38

Спектакли в Опере начинались и заканчивались раньше, чем в наши дни. Ужин Фридриха начинался в десять часов. (Прим. автора.)

39

Траян (ок. 53 – 117) – римский император. Средневековые легенды прославили его как честного и правдивого государя.

40

«Я еще держу его при себе, потому что он мне нужен. Через год он мне не понадобится, и тогда я избавлюсь от него. Я выжимаю апельсин, а потом

выбрасываю кожуру». Известно, что эта фраза ранила самолюбие Вольтера.
(Прим. автора.)

41

Д'Аструа Джованна (1730–1757) – итальянская певица. В 1747 г. была приглашена в Берлинский оперный театр.

42

Манихей – приверженец манихейства, религиозного учения (по имени легендарного перса Мани), в основе которого лежала идея борьбы доброго и злого начал. С III в. н. э. манихейство получило широкое распространение в странах Востока и Запада. Жестоко преследовалось церковью.

43

«...перед чудодейственным мастерством, которое приписывают Сен-Жермену». – Из предшествующих слов короля явствует, что речь идет не о Сен-Жермене, а о Калиостро.

44

Маркиз Бранденбургский – Фридрих II.

45

«...почивать в рощах Киферы». – Остров Кифера (Цитера), некогда один из центров культа Афродиты, в XVII–XVIII вв. служил олицетворением царства любви. Фридрих II имеет в виду галантные празднества, устраивавшиеся в его время французской аристократией (одно из таких празднеств изображено на картине Ватто «Путешествие на остров Киферу»).

46

Шталь Георг Эрнст (1660–1734) – немецкий химик и врач.

47

Ришелье Луи-Франсуа-Арман дю Плесси, герцог де (1696–1788) – внучатый племянник кардинала Ришелье. Был известен своими любовными похождениями.

48

Лозен Антуан-Номпер де Комон (1633–1723) – придворный Людовика XIV, вступивший в тайный брак с двоюродной сестрой короля.

49

Белая женщина – см. рассказ Амалии в X главе романа.

50

Тренк Фридрих фон (1726–1794) – прусский авантюрист. Был офицером-ординарцем Фридриха II. В 1745 г. по обвинению в измене был заключен в крепость Глац, затем бежал, поступил на военную службу в Россию. В 1754 г. появился в Пруссии и был арестован; после неудачной попытки бежать был закован в кандалы и заключен в тюрьму в Магдебурге, где провел девять лет. Получив свободу, отправился в Париж и в Лондон, где выполнял тайные поручения венского двора. Во время французской революции вновь поехал в Париж. Там он был обвинен в шпионаже и гильотинирован.

51

Ульрика – Луиза Ульрика (1720–1782), супруга шведского короля Адольфа Фридриха.

52

Тренк-пандур – Франц фон Тренк (1711–1749), австрийский авантюрист, двоюродный брат Фридриха фон Тренка. Командовал пандурами – нерегулярными пехотными отрядами, сформировавшимися в подвластных Габсбургам Венгрии и Хорватии. В 1746 г. был обвинен в разбое и мародерстве и приговорен к пожизненному заключению в крепости Шпильберг в Брюнне (Брно).

53

«...простодушие, достойное Генриха Четвертого и короля Рене!» – Генрих IV (1553–1610) – французский король, вступивший на престол в 1594 г. Согласно легенде, Генрих IV обещал править страной так, «чтобы у каждого крестьянина по воскресеньям была в супе курица». Рене Анжуйский (1409–1480), прозванный Добрым (Rene le Bon), был номинальным королем Неаполя и Сицилии и правителем Прованса.

54

«Вы не русская царица и не Мария-Терезия, какую же войну мог бы я объявить вам?» – Русская царица Елизавета Петровна и австрийская императрица Мария-Терезия являлись противниками Фридриха II во время войны за австрийское наследство (1740–1748) и Семилетней войны (1756–1763).

55

«Войну льва с мушкой». – Имеется в виду басня Лафонтена «Лев и мушка».

56

Барон фон Крейц. – Под этим именем Фридрих II появляется в первой части диалогии (гл. С – СII).

Купить: <https://telnovel.com/ru/zhorzh-sand/grafinya-rudolshadt-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)